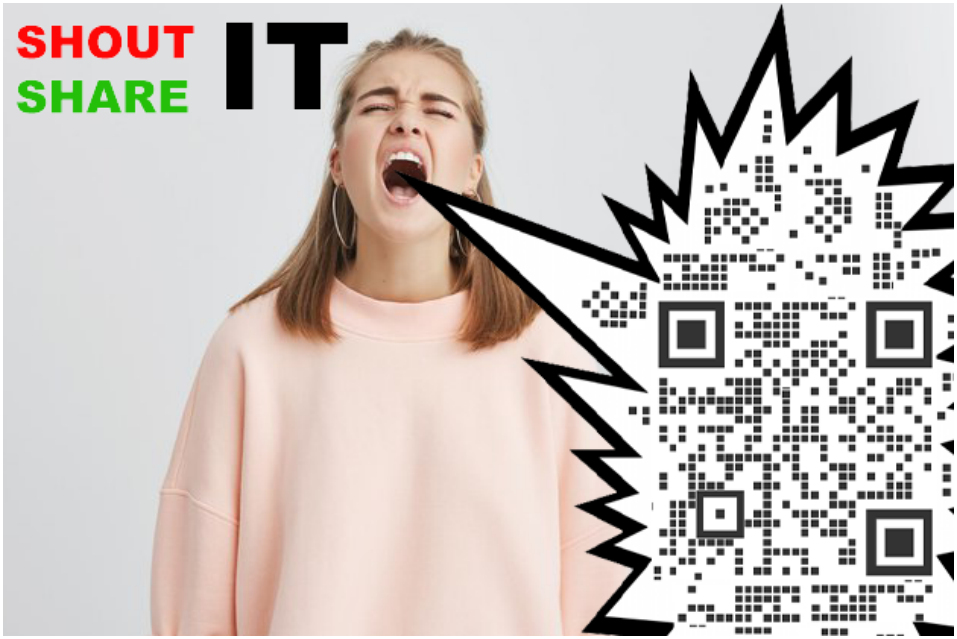
Булгаков

Михаил Афанасьевич

1891 - 1940

Классики

за 30 минут


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.

В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.

Для широкого круга читателей.

- Булгаков за 30 минут
  - Биографический очерк
  - Мастер и Маргарита
    - Глава 1. Никогда не разговаривайте с неизвестными
    - Глава 2. Понтий Пилат
    - Глава 3. Седьмое доказательство
    - Глава 4. Погоня
    - Глава 5. Было дело в Грибоедове
    - Глава 6. Шизофрения, как и было сказано
    - Глава 7. Нехорошая квартирка
    - Глава 8. Поединок между профессором и поэтом
    - Глава 9. Коровьевские штуки
    - Глава 10. Вести из Ялты
    - Глава 11. Раздвоение Ивана
    - Глава 12. Черная магия и ее разоблачение
    - Глава 13. Явление героя
    - Глава 14. Слава петуху!
    - Глава 15. Сон Никанора Ивановича
    - Глава 16. Казнь
    - Глава 17. Беспокойный день
    - Глава 18. Неудачливые визитеры
    - Глава 19. Маргарита
    - Глава 20. Крем Азазелло
    - Глава 21. Полет
    - Глава 22. При свечах
    - Глава 23. Великий бал у сатаны

- Глава 24. Извлечение Мастера
- Глава 25. Как прокуратор пытался спасти Иуду
- Глава 26. Погребение
- Глава 27. Конец квартиры № 50
- Глава 28. Последние похождения Коровьева и Бегемота
- Глава 29. Судьба Мастера и Маргариты определена
- Глава 30. Пора! Пора!
- Глава 31. На Воробьевых горах
- Глава 32. Прощение и вечный приют
- Эпилог

○ Собачье сердце

○ Роковые яйца

-
- Глава 2. Цветной завиток
- Глава 3. Персиков поймал
- Глава 4. Попадья Дроздова
- Глава 5. Куриная история
- Глава 6. Москва в июне 1928 года
- Глава 7. Рокк
- Глава 8. История в совхозе
- Глава 9. Живая каша
- Глава 10. Катастрофа
- Глава 11. Бой и смерть
- Глава 12. Морозный бог на машине

○ Записки юного врача

- Полотенце с петухом
- Вьюга
- Стальное горло
- Тьма египетская
- Морфий
- Крещение поворотом
- Пропавший глаз
- Звездная сыпь

Булгаков за 30 минут

Биографический очерк

Великолепный русский писатель, драматург, режиссер и актер в театральных постановках, Михаил Афанасьевич Булгаков появился на свет 15 мая (3 мая по ст. стилю) 1891 года в Киеве на улице Воздвиженской, 28. Его отец – Афанасий Иванович был на протяжении почти всей его жизни доцентом, преподавателем Киевской духовной академии и лишь за несколько недель до кончины, стал ординарным профессором кафедры истории западных вероисповеданий. Мать – Варвара Михайловна (в девичестве – Покровская) была очень волевой и энергичной женщиной, занималась воспитанием детей и домохозяйством. А семья была многодетной, где помимо Михаила воспитывалось еще два сына (Николай и Иван) и четыре дочери (Вера, Надежда, Варвара и Елена). Все они – представители провинциального дворянского рода.

Несмотря на раннюю потерю отца, бывшего кормильцем семьи (Михаилу было 16, когда того не стало), мальчик получил замечательное образование. Сначала в Первой Александровской гимназии, в которой обучались дети русской интеллигенции, а преподавали зачастую профессора их университета. Затем, с 1909 года Михаил Афанасьевич становится студентом медицинского факультета Киевского университета. Решение о медицинской карьере было принято, вероятно, с учетом того, что оба брата матери – Николай и Михаил Покровские были успешными врачами и зарабатывали очень хорошие деньги. Сам Булгаков в 1916 году блестяще закончил университет, получив диплом с отличием.

1913 год ознаменовался для молодого Булгакова женитьбой на Татьяне Николаевне Лаппа, которая являлась дочерью управляющего Саратовской казенной палатой. Семейство жены относилось к столбовым дворянам, а это значит, что и запросы, и уровень жизни у них был значительно выше, чем у семьи Михаила. Но, по свидетельству биографов писателя, деньги не задерживались надолго в их доме: оба были молоды и не любили экономить. Михаил Афанасьевич мог легко истратить на такси последние деньги, любил и понимал музыку, посещал с женой театральные премьеры, бывал на концертах Шаляпина.

Начало Первой мировой войны в 1914 году круто изменило миллионы человеческих судеб, не стал исключением и молодой Булгаков. Как врач он отправился на работу в полевой госпиталь сначала в Каменец-Подольский, затем – в Череповцы. В это страшное военное время, когда русская армия терпела поражение,

ему довелось увидеть тысячи изувеченных человеческих тел.

Сентябрь 1916 года стал для Булгакова своеобразным повышением по службе: его отозвали с фронта и направили заведующим в земскую Никольскую сельскую больницу в Сычевском уезде Смоленской губернии. А уже осенью 1917 года ему была предложена должность заведующего инфекционным и венерическим отделениями в Вяземской земской больнице. Именно этот период жизни был зафиксирован в рассказе «Записки молодого врача» (1926 г.). Согласно сохранившимся документам земской больницы, Булгаков был великолепным врачом, успешно выполнял сложные хирургические операции.

События февральской революции внесли свои коррективы в судьбу талантливого врача: он был освобожден со службы (был ратником ополчения II разряда) и, соответственно, с работы в земской больнице. После проведенной однажды операции, он опасался заболеть дифтерией, а потому начал принимать антидифтерийное лекарство, вызвавшее аллергическую реакцию. И для уменьшения последней, он начал принимать морфий. Вскоре эта привычка стала постоянной.

1917 год застал Булгакова в Москве, куда он впервые приехал в гости к дяде – известному врачу-гинекологу Н.М. Покровскому. Именно последний стал прообразом профессора Преображенского в повести «Собачье сердце».

Возвращение по весне 1918 года в Киев, стало началом его частной практики как врача-венеролога и тогда же он прекратил прием опиума. Однако всего через несколько месяцев город был оккупирован германскими войсками и писатель не смог оставаться в стороне от гражданской войны.

Февраль 1919 года ознаменовался для М. Булгакова мобилизацией в качестве военного врача в армию Украинской Народной Республики. После, согласно его воспоминаниям, оказался мобилизованным в белые Вооруженные силы Юга России, где был назначен военным врачом 3-го Терского казачьего полка. В том же году писатель недолго работал врачом Красного креста, а затем – вновь в белых Вооруженных Силах Юга России. В составе 3-го Терского казачьего полка был на Северном Кавказе.

Тогда же начал писать для местных газет (статья «Грядущие перспективы»). Во время отступления Добровольческой армии в начале 1920 года был болен тифом, поэтому вынужденно не покинул страну. После выздоровления, во Владикавказе, появились его первые драматургические опыты. В конце 1919 – начале 1920 годов он покинул ряды деникинской армии и, по его собственному признанию, навсегда оставил медицину ради

писательства. Упомянутые выше пьесы он сочинял для Первого советского театра Владикавказа, но это была еще только «проба пера» и настоящий драматургический гений Булгакова в агитках-однодневках не проявился.

Финансовый успех в результате блестящей постановки «Сыновей муллы», позволил Булгакову переехать в Тифлис, где драматург мог бы заявить о себе в полный голос. События, пережитые во Владикавказе нашли свое отражение в романе «Белая гвардия», рассказах: «Необыкновенные приключения доктора» и «В ночь на 3-е число», повести «Записки на манжетах». И в Тифлисе, и в Батуми у писателя была перспектива эмигрировать, но он остался верен себе и как настоящий русский писатель остался на родине, перебравшись в сентябре 1921 года в Москву.

В столице Булгаков сочинял фельетоны для таких газет как: «Гудок», «Рабочий»; журналов: «Россия», «Возрождение», «Медицинский работник», «Красный журнал для всех». Тогда же увидели свет его произведения в газете «Накануне», издававшейся в Берлине. Суммарно за период с 1922 по 1926 годы в газете «Гудок» было опубликовано более 120 различных литературных заданий писателя: очерки, репортажи, фельетоны и пр.

Начиная с 1923 года Михаил Афанасьевич являлся членом Всероссийского Союза писателей. А в следующем 1924 году встретил Любовь Евгеньевну Белозерскую, ставшую в последствии его второй супругой.

Октябрь 1926 года ознаменовался грандиозным успехом пьесы «Дни Турбиных», ставившейся во МХАТе. Изначально разрешенная только на год, постановка позже продлевалась несколько раз. Сам И.Сталин был в восторге от нее и посмотрел пьесу 14 раз, хотя и называл ее «антисоветской штукой». Несмотря на несомненный успех, ни один другой театр не обладал разрешением ставить эту пьесу.

Как это часто бывает с талантливыми людьми, пресса того времени была беспощадна к писателю, его критиковали практически все: Маяковский, Авербах, Керженцев и др. Тем не менее, в октябре 1926 года также с оглушительным успехом в Театре им. Вахтангова был поставлен спектакль по пьесе Булгакова «Зойкина квартира».

Свой небольшой отпуск в 1928 году Михаил Афанасьевич с супругой провели на Кавказе, побывали в Тифлисе, Батуми, Зеленом Мысе, Владикавказе. Тогда же появился творческий замысел «Мастера и Маргариты», кроме того, он приступил к работе над пьесой «Кабала святош», посвященную Мольеру. А в Москве состоялась премьера пьесы «Багровый остров».

1929 год ознаменовался для писателя знакомством с Еленой Сергеевной Шиловской, ставшей в 1932 году его третьей супругой.

Внезапно, к 1930 году Булгаков впал в немилость: его пьесы начали изымать из репертуара театров, перестали публиковать произведения, особенно ожесточенно ругали критики. Сильно пошатнулось его материальное положение, которое в итоге и вынудило Михаила Афанасьевича написать открытое письмо, адресованное И.Сталину с просьбой позволить либо навсегда покинуть страну, либо нормально продолжать работать во МХАТе. Ответом стало предложение присоединиться к сотрудникам этого театра.

В 1930 году некоторое время работал режиссером в Центральном театре рабочей молодежи (ТРАМ), затем – до 1936 года выполнял обязанности режиссера-ассистента во МХАТе. К слову, в 1932 году на сцене этого театра была поставлена пьеса «Мертвые души» Н.В. Гоголя в авторской переработке Булгакова. Выехать за границу так и не получилось – в 1934 году в этом писателю было отказано на оба прошения, зато, он стал членом Союза советских писателей. А 1935 год стал знаменательным для Михаила Афанасьевича в виду его дебюта в роли актера на сцене МХАТовского театра – он был судьей в спектакле «Пиквикский клуб» Ч. Диккенса. Именно по мотивам работы в коллективе этого знаменитого театра позже было написано произведение «Записки покойника». Прообразами для которого выступили сами сотрудники театра.

В 1936 году после долгих лет репетиций состоялась премьера спектакля «Кабала святош» или «Мольер», но спустя семь лет она была запрещена и снята с репертуара. Разгромная статья, опубликованная в «Правде» по поводу этой пьесы, вынудила Михаила Афанасьевича вообще покинуть МХАТ.

Он перешел в Большой театр, где занимал должность либреттиста и переводчика. Там он познакомился и подружился с Исааком Дунаевским. Является автором либретто «Минин и Пожарский» и «Петр I». В 1939 году Булгаков трудился над пьесой «Батум» (посвященной И. Сталину) и либретто «Рашель», но в самый последний момент вождь пролетариата передумал давать добро на эту постановку и «Батум» был запрещен.

Эта неудача серьезно сказалась на здоровье М.А. Булгакова. Потеря зрения, как позже установили врачи, была вызвана гипертоническим нефросклерозом, бывшим наследственным (от этой болезни скончался отец писателя). Он вновь начал принимать морфий для снятия болевого синдрома. Тогда же, словно предчувствуя неладное, Михаил Афанасьевич стал

диктовать супруге окончательный вариант «Мастера и Маргариты».

Февраль 1940 года стал настоящим испытанием как для самого М.А. Булгакова, так и для его родных и друзей – они не отходили от постели больного. Но схватка с болезнью была проиграна и 10 марта 1940 года величайшего писателя, драматурга и режиссера не стало.

На следующий день 11 марта состоялась гражданская панихида в доме Союза Советских писателей. А московский скульптор С.Д. Меркуров сделал с лица покойного посмертную маску.

Похоронен классик русской и мировой литературы на Новодевичьем кладбище, а на его могиле установлен огромный камень, прозванный «голгофой», который когда-то лежал на могиле Н.В. Гоголя – на этом настояла вдова М.А. Булгакова.

По иронии судьбы, знаменитый роман «Мастер и Маргарита» увидел свет лишь спустя двадцать шесть лет после смерти Михаила Афанасьевича Булгакова и прославил его на весь мир. Примерно та же участь ожидала и роман «Записки покойника», и ряд других произведений автора – все они нашли своего читателя, когда сам Михаил Афанасьевич был уже в лучшем из миров.

Мастер и Маргарита

Глава 1. Никогда не разговаривайте с неизвестными

Весной во время непривычно жаркого заката, в Москве на Патриарших прудах появляются два человека. Один – невысок ростом, откормлен, лыс, одет в летнюю серую пару, на его лице огромных размеров очки в черной роговой оправе, а шляпа пирожком помещается в руке. Второй – рыжий, широкоплечий, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке, одет в ковбойку, жеваные белые брюки и черные тапочки. Первого персонажа зовут Михаил Александрович Берлиоз – председатель правления крупной московской литературной ассоциации (МАССОЛИТ) и редактор увесистого художественного журнала. Второй – Иван Николаевич Понырев, поэт, печатающийся под псевдонимом Бездомный.

Примечательно, что несмотря на необыкновенно жаркий вечер, никто из прохожих не прохлаждался под липами на аллее, параллельной Малой Бронной улице, никто не покупал прохладительные напитки – вся улица была совершенно пустынна.

Оба литературных работника, напившись теплой абрикосовой воды, присели на лавочку лицом к пруду. Внезапно, Берлиоз почувствовал себя нехорошо, безотчетный страх сковал его душу, но тот решил, что просто переутомился и отдых в Кисловодске все исправит. Однако в этот же момент из сгустившегося знойного воздуха внезапно материализовался прозрачный гражданин в жокейском картузике и кургузом воздушном пиджачке. Был он очень высок и худ до неприличия, с глумливым выражением лица. Не веря своим глазам, Берлиоз в ужасе зажмурился, а когда открыл глаза, странное клетчатое видение и впрямь исчезло. Придя в себя, он радостно вернулся к прерванному разговору с Бездомным.

Выясняется, что Берлиоз заказал поэту написать для новой книжки журнала большую антирелигиозную поэму и последний ее даже написал, но редактору она не понравилась. Основное недовольство выражалось в реалистичности образа Иисуса Христа в поэме – он хоть и очерненный мрачными красками, но был как живой. А Берлиоз настаивал на том, что Иисуса Христа не существует вовсе, всё это вранье, вранье и все рассказы о нем. В качестве доказательства редактор приводил известных ученых мужей прошлого, ни один из которых никак и никогда не упоминали Христа.

Увлекшись рассказом о невозможности существования Иисуса Христа, Берлиоз забрался в такие дебри истории, что не заметил появления на аллее первого и пока единственного прохожего. По поводу внешности его не было однозначных сведений. Так, одно учреждение позже описывало его в своих сводках как маленького человека с золотыми зубами и хромого на правую ногу, другому почудился человек небывало высокого роста, с платиновыми коронками и хромающий на левую ногу, а третье заявило, что примет у него никаких не было вовсе.

К действительности ни одно из этих описаний отношения не имело, поскольку был человек просто высок ростом, не хромал вовсе, а недоразумение с зубами оказалось вызвано тем, что слева у него были платиновые коронки, а справа – золотые. Одет он был в дорогой серый костюм, модные серые туфли, в сером же берете, лихо заломленном за ухо, брюнет, с глазами разного цвета: правый – черный, а левый-зеленый, с черными же бровями и тростью с набалдашником в виде головы пуделя – словом, все в нем выдавало иностранца.

Неожиданно иностранец присоединился к двум литераторам и поддержал их беседу на русском языке с небольшим акцентом. Он пришел в совершенный восторг от того, что оба были атеистами, но поинтересовался у них тем, кто же управляет всем миром, если Бога нет, а человек смертен и подвержен всяким случайностям. Загадочный субъект сообщает Берлиозу каким образом тот умрет и оказывается, что это не только должно произойти уже достаточно скоро, но к этому ведет цепь событий, ни одно из которых не является случайным. В частности, комсомолка Аннушка уже купила и разлила масло, хотя Берлиозу это ни о чем и не говорит. Странный профессор может слышать их мысли, представляется профессором черной магии и неожиданно заявляет, что Иисус Христос на самом деле существовал.

Глава 2. Понтий Пилат

Ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытой колоннаде дворца ирода великого в городе Ершалаим появляется прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Он не в духе от того, что ему везде мерещится безобразный запах розового масла от которого его мучит болезнь гемикрания – ужасно болит полголовы. Прокуратор, стараясь не шевелить головой усаживается в свое кресло у фонтана для того, чтобы судить очередного подследственного.

Легионеры приводят молодого человека, лет двадцати семи в стареньком голубом хитоне с белой повязкой на голове, закрепленной кожаным ремешком. Руки его связаны за спиной, под левым глазом – синяк, а в уголке рта – запекшаяся кровь.

По-прежнему, стараясь не шевелить головой, Понтий Пилат начинает его опрашивать. Оказывается, что пленника зовут Иешуа, он из Гамалы и никого не подбивал на разрушение храма, в чем его обвиняют. Рассказывает, как сборщик податей Левий Матвей после разговора с ним бросил свое занятие и присоединился в странствиях к арестанту. Путаница возникла из-за того, что Иешуа предсказывает приход новой истинной веры, взамен старой. Он знает, что у Понтия Пилата ужасно болит голова и убирает эту боль, рассказывая попутно о его жизни, советует чаще гулять на свежем воздухе и больше верить людям. Говорит на многих языках. Очень добрый сам и уверен, что все остальные люди тоже добры по своей сути.

После разговора с арестантом, Понтий Пилат, до этого собиравшийся его помиловать и заключить в тюрьму, внезапно передумал и подписал несчастному смертный приговор, запретив кому-либо из стражи с ним разговаривать. В результате беседы прокуратора с исполняющим обязанности президента Синедриона первосвященником иудейским Иосифом Каифа, было решено, что Вар-Раввана следует освободить от смертной казни, хотя он и более опасный преступник, а Га-Ноцри (Иешуа) – казнить. Связано это с тем, что по обычаю в день Пасхи одному преступнику даруют жизнь. На площади собралась огромная толпа из зевак, все с нетерпением ожидали казни, а сам Понтий старался не смотреть в сторону осужденных. Часы показывали около десяти часов утра.

Глава 3. Седьмое доказательство

Тем временем, события вновь переносятся к беседе с литераторами, которым профессор рассказывал про Понтия Пилата. Его фраза о том, что он сам лично там присутствовал, убедила и Берлиоза, и Бездомного в его совершенном безумии.

Безумный, по мнению товарищей, профессор сообщает, что и Дьявол существует на самом деле. Но те уже не обращают особого внимания на его слова. Тогда он говорит, что готов предоставить последнее седьмое доказательство существования Бога. А Берлиоз бежит звонить в бюро иностранцев, чтобы они явились и забрали своего сумасшедшего товарища. Поэт остается с профессором. А Берлиоз попадает под трамвай и ему, как и было предсказано, отрезает голову.

Глава 4. Погоня

Поэт находился в совершенном ужасе от гибели Берлиоза и собирался предать профессора правосудию, но тот мгновенно притворился, что ни слова не понимает по-русски и в сопровождении гражданина в клетчатом одеянии, прежде повидевшемся покойному, и огромного черного кота ловко скрылись от него. Бездомный отважно пытался догнать беглецов, даже ворвался в чужую квартиру, где зачем-то украл венчальную свечу и бумажную икону и искупался в Москве-реке, оставив одежду у прохожего, но после купания не нашел ни прохожего, ни одежды и в одних кальсонах отправился по всей Москве. Поскольку прохожие с удивлением оборачивались на него, он решил идти мелкими, темными улочками, постоянно отовсюду слыша полонез из оперы «Евгений Онегин».

Глава 5. Было дело в Грибоедове

В это время в доме Грибоедова, где располагался сам МАССОЛИТ, уже собрались двенадцать литераторов на собрание, председательствовать на котором должен был погибший Михаил Александрович. Так и не дождавшись его, они спустились в знаменитый ресторан ужинать и веселиться. В разгар веселья пронеслось известие о гибели Берлиоза и все сразу смолкло. А Желдыбин, присутствовавший в морге от имени больной супруги Берлиоза, экстренно созвал всех литераторов на срочное совещание по поводу грядущих похорон.

Тем временем, внизу появилось то, что сначала все приняли за привидение, но оказавшееся Иваном Николаевичем Бездомным – тем самым поэтом, который присутствовал при гибели Берлиоза и разгуливал по Москве в одних кальсонах и разорванной толстовке, с иконой и свечей. Вид и поведение его было совершенно безумным. Поэтому все решили, что сошел с ума, связали и отправили его в психиатрическую клинику.

Глава 6. Шизофрения, как и было сказано

В психиатрической клинике несчастный Иван Бездомный пытался рассказать доктору, что произошло, свидетелем каких событий он стал, но ему никто не поверил. Врач, как и предсказывал иностранный профессор тогда на Патриарших прудах, констатировал шизофрению.

Сопротивлявшегося поэта насильно связали и оставили в психушке. Поэт Рюхин, который сопровождал друга в лечебницу, решил, что предал того и сам почувствовал себя очень мерзко.

Глава 7. Нехорошая квартирка

Степан Лиходеев – директор варьете приходит в себя, лежа на большой кровати в своей квартире на улице Садовой. Ему очень плохо и он с трудом понимает, где вообще находится. Сама квартира № 50 славится дурной репутацией в виду того, что из нее бесследно исчезали люди.

Так, сгинули в неизвестном направлении все предыдущие жильцы странной квартиры и она долго была опечатанной. До тех пор, пока в нее не въехали Берлиоз с женой и Лиходеев тоже с женой – они снимали квартиру пополам. Вскоре супруги обоих попали, но не бесследно, их вроде бы кто-то где-то видел потом, но очень далеко от этого места.

Наконец, Лиходеев собирается с силами и пытается встать. В трюмо он видит себя в весьма плачевном состоянии: грязная сорочка, заплывшие глаза, черная щетина на опухшем лице. Рядом с ним в трюмо отражался человек во всем черном и в черном же берете.

Незнакомец с легким акцентом сообщает, что явился по приглашению самого Лиходеева, предлагает тому подкрепиться горячей и острой закуской и выпить еще водки. Мгновенно в спальне директора варьете появляются и водка, и закуска. Он потихоньку вспоминает вчерашний день, но все еще не понимает кто этот господин. Тогда тот сам представляется профессором черной магии Воландом. Напоминает Лиходееву в деталях прошедший вечер и что он вчера заключил с ним контракт на выступления в Варьете и даже заплатил аванс. Сам директор не помнит ничего подобного.

Отлучившись позвонить, он видит в запыленном отражении зеркала того самого высокого странного господина со странной гримасой и жирного черного кота. Бедный директор считает, что сходит с ума. Пытается позвать домработницу Груню, но выясняется, что Воланд отослал ее домой в Воронеж. В комнате директор видит всех троих уже вполне материально, а огромный кот пьет водку и закусывает грибами. Из зеркала внезапно выходит рыжий безобразный маленький персонаж с очень широкими плечами и торчащим зубом. Все вместе они начинают ругать Лиходеева, что тот все в жизни делал не правильно, и вообще очень плохой человек. Степан падает на пол, думая, что умирает.

Но он не умирает и приходит в себя на полу каменного мола на берегу моря. Выясняется, что красивый город за его спиной – Ялта и в конец обескураженный Лиходеев поваливается набок.

Глава 8. Поединок между профессором и поэтом

Тем временем, Иван Николаевич Бездомный приходит в себя в психиатрической больнице. Принимает ванну, проходит обследование, завтракает и к нему в палату является доктор Стравинский в сопровождении целой свиты из других врачей.

Поэт решил ничего им не рассказывать, особенно, о Понтии Пилате. Он замкнулся в себе и на все вопросы отвечал крайне неохотно. Но потом неожиданно передумал и рассказал профессору Стравинскому все детали вчерашнего происшествия на Патриарших прудах, включая Понтия Пилата. Умный врач его вежливо выслушал и объяснил, что в этот рассказ сложно поверить, поэтому Ивану следует задержаться в лечебнице и полностью успокоиться.

Глава 9. Коровьевские штуки

Известие о гибели Берлиоза моментально разлетелось по всему дому, в котором находилась квартира покойного и на нее сразу начали претендовать другие жильцы, осаждая председателя жилищного товарищества дома номер 302-бис на Садовой улице. Звали его Никанор Иванович Босой.

Кое-как отбившись от толпы претендентов на квартиру № 50, он решает сам туда зайти. Поднимается на нужный этаж, звонит, но ему не открывают и отпирает дверь своим ключом. Срывает печать с двери кабинета и в изумлении обнаруживает там уже знакомого читателю высокого тощего господина в клетчатом пиджачке и ковбойской шапочке, с пенсне на носу. Он представляется Коровьевым и говорит, что является переводчиком иностранного господина, который живет в этой квартире.

Изумленному Босому Коровьев сообщает, что Степан Лиходеев сам пригласил иностранного артиста Воланда выступить в Варьете и позволил тому пожить примерно неделю в его квартире, пока он сам съездит в Ялту. И письмо об этом находится в портфеле у председателя. Затем странный тип в клетчатом попросил у собеседника разрешение занять обе половины квартиры, обещая за это щедрую плату. Босой соглашается и Коровьев немедленно составляет контракт и отдает тому пять тысяч рублей за неделю жизни в квартире.

Но Воланду председатель не понравился и с помощью Коровьева они его подставили в получении взятки, за что последний был арестован.

Глава 10. Вести из Ялты

Финансовый директор варьете Римский уговаривает Варенуху снова попробовать дозвониться до Лиходеева, но того нигде нет. Они с удовольствием рассматривают афиши с заявленным артистом Воландом.

Тут к ним заходит женщина-посыльный и приносит срочное сообщение от уголовного розыска города Ялты, который просит подтвердить личность человека, называющего себя Лиходеевым. Римский и Варенуха очень удивлены, ведь Степан в Москве. Через несколько минут та же самая женщина приносит другое послание в котором сам Лиходеев говорит, что его под гипнозом Воланд отправил в Ялту. Финансовый директор и Варенуха вообще ничего не понимают. Вновь та же самая женщина приносит фотографию почерка Степана с его просьбой принять это как доказательство, что он это он и сообщить об этом в уголовный розыск. Невероятной является скорость, с которой Лиходеев оказался в той Ялте, ведь невозможно это сделать так быстро.

Варенуха позвонил в квартиру Лиходеева и ему ответил Коровьев с сообщением о том, что Степан просто уехал за город. Через минуту опять та же самая женщина приносит телеграмму, в которой Лиходеев сообщает, что завтра выезжает в Москву. Ни Римский, ни Варенуха по-прежнему ничего понять не могут.

Римский отправляет Варенуху вместе со всеми телеграммами отвезти их куда следует, чтобы там разобрались со всей этой историей. Но последнему звонят и запрещают вообще кому-либо показывать эти документы. Он не слушает и преисполнен решимости доставить документы куда нужно. Выбегает на улицу, но в подворотне его настигают бандиты: рыжий, широкоплечий и толстый с кошачьими повадками. Они его жестоко избивают и уносят с собой на квартиру Лиходеева, где Иван Савельевич Варенуха теряет чувства. Начинается сильная гроза с ливнем.

Глава 11. Раздвоение Ивана

Иван Бездомный пытается в своей больничной палате сочинить заявление в милицию по поводу всего произошедшего, но у него ничего не выходит. Рассказ слишком не правдоподобен. Он боится, что его и впрямь примут за сумасшедшего. Поэтому пока за окном бушует гроза, сидит и тихо плачет.

Пришла фельдчерица, собрала разметавшиеся по полу листки с сочинением Ивана и унесла их врачу. Тот явился, сделал поэту укол и все сразу успокоилось. Бездомный заснул, а проснувшись стал размышлять, что в общем-то ничего страшного не произошло и не следовало так из-за этого переживать. Нужно гораздо проще смотреть на эту ситуацию, хотя она и странная во многом.

Только несчастный Иван успокоился, как на балконе его палаты появился мужской силуэт.

Глава 12. Черная магия и ее разоблачение

Римский сидит у себя в кабинете. Он не в духе из-за таинственного исчезновения администратора Варенухи. Сначала Лиходеев, потом этот – все они куда-то подевались. Объявляют антракт и к финдиректору приходит курьер с сообщением о прибытии иностранного артиста Воланда. Римского передергивает и он отправляется сам встречать гостя.

Начинается представление и Воланд констатирует Коровьеву-Фаготу, что Москва сильно изменилась за много веков, как изменились и люди, но изменились ли они изнутри? Ответом на это стала констатация того, что все по-прежнему очень любят деньги. На сцене Фагот и кот Бегемот выделывали всяческие невероятные фокусы, а Воланд потихоньку удрал, но этого никто даже не заметил.

Когда же гражданин Семплеяровский Аркадий Аполлонович потребовал у артистов разоблачения их фокусов, чтобы публика поняла, что никакой черной магии не существует, Фагот разоблачил самого гражданина в его связи с хорошенькой актрисой. Начался шум, гвалт и в целом все закончилось огромным столпотворением. Артисты же, бесследно исчезли со сцены.

Глава 13. Явление героя

Загадочным гостем Ивана оказался чисто выбритый, темноволосый человек лет тридцати восьми с острым носом и локоном волос, спадавшим на лоб. Он рассказал о новом больном, который все время клянется, что у него нет и не было никакой валюты (речь идет о председателе жилищного кооператива Босом) и вызывает у поэта такое расположение, что тот рассказывает ему как на духу всю историю, случившуюся на Патриарших прудах, включая Понтия Пилата.

Этот человек говорит Ивану, что тогда вместе с Берлиозом они встретили самого сатану. Сам гость представляется Мастером и показывает черную шапочку с вышитой желтым буквой «М». Признается, что отказался и от своей фамилии и вообще от всего в этой жизни. Оказывается, что он историк по образованию и совсем недавно работал в музее. Жил скромно и одиноко, друзей и знакомых было мало. Владеет пятью языками. Но однажды вдруг выиграл сто тысяч рублей. На эти деньги он накупил разных книг, снял другое жилье, ушел с работы и начал писать роман о Понтии Пилате.

Так он и жил и все его устраивало, пока однажды он не встретил весной прекрасную девушку с печальными глазами, которая несла в руках ужасные желтые цветы. Эти цветы сильно выделялись на ее черном пальто и потому так запомнились. Едва заговорив с ней, он понял, что всегда любил эту женщину, а она любила его. Они начали встречаться, она бывала в его доме каждый день. Когда роман был готов, редактор отказался его печатать. Но другой редактор опубликовал большую часть из этого романа и началась небывалая травля, критика произведения, связанная с упоминанием об Иисусе Христе, когда всем известно, что это все выдумки.

Оказалось, что после завершения романа о Понтии Пилате, молодым людям стало скучно друг с другом, они стали видеться реже, она часто гуляла, а у него появился друг, хотя он крайне туго сходится с людьми. Друга звали Алоизий Могарыч. И он был очень умен, но совершенно не понравился его девушке. Постепенно сам Мастер понял, что заболевает, его начали мучать страхи и кошмары, видения, он не засыпал без света. В конце концов, однажды он сжигает в печи свой роман. Но неожиданно является его возлюбленная, которая достает из печи полусгоревшие листы с тем, чтобы их потом восстановить.

Девушка собирается оставить своего мужа ради Мастера, обещает с супругом утром объясниться и навсегда поселиться с

возлюбленным. Но с тех пор Мастер ее больше не видел. Потом он оказался в сумасшедшем доме.

Глава 14. Слава петуху!

Финдиректор Римский спрятался от всех в своем кабинете. На улице улюлюкала толпа, слышались милицейские сирены и хохот прохожих. Оказалось, что на мостовой были две женщины в одном нижнем белье и с зонтиками в руках – их платья исчезли, поскольку все фокусы, показанные странными и безобразными артистами были обманом.

Нервы Римского были на взводе и в момент, когда он остался совершенно один в театре, собираясь идти домой, неожиданно дверь своим ключом открыл Варенуха. Радость от того, что хоть кто-то нашелся, быстро сменилась подозрением в подвохе. Потом полным неверием ни единому слову администратора и уверенностью в том, что тот изменился до неузнаваемости. В конце концов, обман был раскрыт и это действительно был не Варенуха. Кроме того, началось невообразимое: в форточку к нему пыталась пробраться голая рыжая девица, издававшая нечленораздельные звуки, с трупными пятнами по всему телу и зеленым цветом кожи. Она все приближалась к Римскому, и когда практически уже его достала, раздался спасительный крик петуха. Это его и спасло. Оба призрака покинули кабинет финдиректора.

Совершенно седой, он выбежал на улицу и на такси помчался на вокзал, чтобы успеть на курьерский ленинградский поезд.

Глава 15. Сон Никанора Ивановича

Никанор Иванович Босой после обвинения в хранении валюты дома, был доставлен для разбирательства в какое-то место, какое он точно сам назвать не мог. Там с ним пытались поговорить, но безуспешно, он нес какую-то чушь и был буйным, ему везде Коровьев мерещился.

Потом его доставили к профессору Стравинскому в психушку. Там он вел себя настолько буйно, что ему сделали укол и он заснул. Сон его был беспокойным и все время снились кошмары про то, что от него требовали сдать валюту. А он пытался всем доказать, что никакой валюты у него нет.

Он кричал и стонал во сне, пока фельдчерица Прасковья Федоровна не сделала ему успокоительный укол. Наконец, он заснул. Но его переживания разлетелись по всей больнице и навестили пациента в 120-й комнате, который пытался найти свою голову (конферансье, у которого Фагот и кот Бегемот в Варьете на потеху публики оторвали голову), тревожно стало в 118-й комнате неизвестному Мастеру, а от него тревога по балкону пробралась к Ивану, который проснулся и заплакал.

Но врач быстро всех успокоил. Последним угомонился Иван и ему начал сниться сон о казни.

Глава 16. Казнь

Лысая гора была оцеплена двойным оцеплением и солнце постепенно клонилось к закату. В сопровождении колонны из пехоты и кавалерии, кентурионов и военачальников, глашатаев и огромной людской толпы, пленники и их палачи взобрались на Лысую гору.

Солнце безжалостно припекало, жара стояла невыносимая и толпа, решив, что в самой казни нет ничего интересного, отправилась обратно в Ершалаим готовиться к пасхе.

Единственным человеком оставшимся под палящим зноем на Лысой горе оказался Левий Матвей. Сначала он пытался пробраться поближе к приговоренным разбойникам, но его грубо оттолкнули и ему ничего не оставалось, как примириться с тем, что наблюдать казнь издалека. Сильнейшие душевные переживания переполняли его душу. Он жестоко ругал себя за то, что позволил Иешуа одному идти в Ершалаим и чувствовал теперь себя виновным в том, что произошло.

Левий Матвей умолял Бога послать для друга скорейшую смерть, чтобы тот не мучался долго. Собирался даже сам убить Иешуа, только чтобы его не подвергали пыткам. Но спасительной смерти для друга так и не наступало и тогда горячий Левий Матвей начал проклинать Бога, заявлять, что больше не верит ему, раз он никак не может помочь Иешуа. Так он кричал и горячился, пока внезапно не почувствовал холодок и не понял, что приближается сильная гроза.

Гестас на своем столбе быстро сошел с ума и пел какую-то не понятную песенку про виноград. Дисмас был в сознании, все понимал и ему было тяжелее всех. Иешуа был счастлив от того, что почти сразу провалился в забытье. К ним поочередно подходил палач со смоченной в воде губкой на краю копья, предлагая напиться. Преступники пили и после этого их убивали. Но Иешуа только немного ранили, а не убили. Разразилась страшная гроза и солдаты кинулись прочь с Лысой горы обратно в Ершалаим. В это время Левий Матвей добрался до распятых и перерезал на них веревки. Тела Гестаса и Дисмаса так и остались там, а тело Иешуа он забрал с собой.

Глава 17. Беспокойный день

На следующий день после сеанса черной магии в Варьете, около его стен скопилась многотысячная очередь из желающих попасть на представление о котором ходили самые разнообразные небылицы. После загадочного исчезновения всего руководства, за главного остался скромный бухгалтер Василий Степанович Ласточкин.

В самом варьете творился форменный дурдом, никто не знал куда подевались Римский, Лиходеев и Варенуха и найти их нигде не могли. Мало того, никто толком не мог вспомнить, что за артисты выступали, как их зовут, кто они и где контракт с ними. Приехала милиция, затем и следствие с собакой. Но разобраться с тем, что же произошло не смогли и они. Варьете было временно закрыто и в нем оставили только дежурных.

А бухгалтеру следовало съездить в комиссию зрелищ и увеселений облегченного типа для того, чтобы предоставить им доклад о событиях вчерашнего вечера и отвезти выручку за прошедший вечер в размере 21711 рублей в финзрелищный сектор.

Явившись в эту самую комиссию, Ласточкин застает там ужасный хаос, все бегают, плачут и суетятся. Вызвано это было тем, что от председателя комиссии – Прохора Петровича остался лишь один пиджак, котопый самостоятельно сидел у себя за столом и работал. Голос председателя тоже раздавался, но ни головы, ни шеи видно не было.

В финзрелищном секторе тоже царил какой-то кошмар: весь филиал дружно пел песни. Причем, хотели они этого или нет, их рты сами раскрывались в песне. Допев одну песню, принимались за следующую. Явился врач и милиционер. Первый всем давал валерьянку, но она не помогала и через 10 минут дружное пение снова начиналось. Приехали три грузовика и в них погрузили весь коллектив филиала вместе с заведующим. Едва выехав за ворота все три грузовика разразились дружной песней и поехали в клинику профессора Стравинского.

Желая избавиться поскорее от казенных денег, бухгалтер подошел к одному из окошечек принимающей кассы. Заполнил необходимую бумажку и заглянул в газету, куда были завернуты деньги. К своему ужасу и удивлению он увидел, что там разнообразная валюта. Его сразу арестовали.

Глава 18. Неудачливые визитеры

В Москву на похороны племянника приезжает дядя Берлиоза – Максимилиан Андреевич Поплавский, который считался одним из умнейших людей в Киеве. Он получил странную телеграмму, в которой его племянник как-бы приглашал дядю на собственные похороны. И несмотря на то, что племянника было очень жаль, гораздо больше дядю интересовала квартира последнего, ведь ему давно хотелось перебраться из Киева в Москву.

Поплавский решил во что бы то ни стало прописаться для начала в квартире погибшего племянника. Для этого он отправляется к председателю жилищного кооператива, но не застает его, конечно. Самостоятельно поднимается в злополучную квартиру № 50 на улице Садовой, где ему не понятно кто открывает дверь и в самой квартире никого, кроме огромного жирного черного кота нет. Но вскоре там появляется вся шайка разбойников, включая Коровьева и рыжего плечистого с выпирающим зубом. Они бьют дядю Берлиоза, выгоняют из квартиры и велят даже не мечтать о ней.

Точно так же они спроваживают буфетчика Фокина, предсказывая тому гибель через девять месяцев. В ужасе он бежит к профессору Кузьмину, который не обнаруживает никаких признаков страшного заболевания. Но фантасмагория начинается у самого профессора. Он едва не сходит с ума.

Глава 19. Маргарита

Возлюбленную Мастера звали Маргарита Николаевна, она красива и умна. Замужем за богатым, красивым и добрым человеком, который ее очень любит. Детей нет. Сама же она так же искренне любит Мастера. Они живут с мужем на верхнем этаже прекрасного особняка. Но счастливой она себя не ощущает, ей не нужен никто, кроме Мастера.

В тоске по любимому она прожила всю зиму и однажды весной проснулась с осознанием того, что что-то должно произойти, согласно сна: либо она скоро умрет и воссоединится в Мастером, либо скоро непременно встретит его.

Когда муж уехал в командировку на три дня, Маргарита отправилась в самую дальнюю комнату дома, где осторожно извлекла на свет божий фотографию Мастера, банковскую книжку с десятью тысячами на его имя, засохшую розу, обернутую папиросной бумагой и тетрадь с зелеными листками и подгоревшим низом, всю исписанную сожженным романом о Понтии Пилате. Насмотревшись на это вдоволь, она затем все убрала на прежнее место и отправилась гулять.

Ее домработница Наташа рассказала хозяйке о невероятных фокусах, которые устраивали накануне в варьете, но она была о них наслышана и не особенно верила им.

На прогулке Маргарита вернулась на то самое место, где она когда-то встретилась с Мастером, сидела на лавочке и размышляла, и вспоминала. Странное предчувствие не покидало ее. Мимо нее прошли странные похороны. Она подумала о том, что готова была бы заложить дьяволу душу за то, чтобы только узнать, жив ли любимый. Едва она это подумала, рядом послышался мужской голос, сообщивший, что хоронят Берлиоза Михаила Александровича. Голос принадлежал рыжему, маленькому и широкоплечему человеку с котелком на голове. Он же сообщил о невероятном происшествии: у покойного кто-то зачем-то украл голову. Этот рыжий приглашает девушку в гости к влиятельному иностранцу и сообщает, что Мастер жив. Нехотя, но в надежде что-то узнать о любимом, Маргарита соглашается.

Азазелло (так зовут этого рыжего) вручает Маргарите круглую коробочку с мазью и велит ей намазать лицо и тело, а позже он ей позвонит и скажет что делать далее. Она понимает, что ввязывается в темную историю, но другого выхода у нее нет.

Глава 20. Крем Азазелло

Ровно в назначенный час Маргарита открыла коробочку и обнаружила там желтоватый жирный крем, пахнущий тиной и лесом. Нанеся его на лицо, она увидела, что мазь обладает сильным омолаживающим эффектом и тридцатилетняя женщина в один миг стала выглядеть как двадцатилетняя. Втирания крема в тело привели не только к его омоложению и укреплению, но и к тому, что оно стало невесомым – она могла парить над ковром. Помимо внешности изменил этот крем и настрой: она испытала сильную радость и свободу, а главное – поняла, что отныне все в ее жизни будет по-другому.

Маргарита написала записку мужу в которой сообщила, что покидает его навсегда, стала ведьмой от горя и страданий и просила ее не искать, а поскорее забыть. Сделав это, тяжкий груз упал с ее души. Она отдала Наташе все свои платья, уверенная, что они ей больше не понадобятся.

По телефону Азазелло велит ей вылетать, полетать над городом и лететь к реке, где ее уже ждут. В этот миг половая щетка сама постучалась в ее дверь, Маргарита накинула на себя только какую-то голубую сорочку, вскочила на щетку и улетела. Потом решила избавиться и от рубашки и в обнаженном виде продолжила путь, понимая, что больше никогда не вернется в этот дом.

Глава 21. Полет

Маргарита стала натуральной ведьмой. Наслаждалась своей свободой, невидимостью и независимостью. Навестила квартиру Латунского и ему очень повезло, что как раз в тот вечер было собрание литераторов и его не было дома. Поскольку ведьма разгромила его квартиру, тяжелым молотком выбила все стекла в доме, напакостила в самой квартире, устроила потом – словом, дала волю всей своей ярости.

Потом просто летела и наслаждалась полетом и свободой. Неожиданно ее догнала на жирном борове домработница Наташа, которая тоже добралась до крема Азазелло.

Маргарита в своем путешествии встретила множество волшебного: встретилась с другими ведьмами, посмотрела на танец русалок и ее называли королевой Марго. Наконец, нарезвившись в волю, она отправилась в сопровождении новых знакомых в Москву.

Глава 22. При свечах

Маргарита уже догадывалась к кому в гости ее везут, но если это было необходимо для возвращения ее счастья, то она была готова. Ее высадили на пустынном кладбище под Москвой и там она встретилась с Азазелло, который ее доставил в квартиру № 50 по улице Садовой и привел в переднюю. Далее ее встретил Коровьев и они присели на мягкий низенький диванчик в огромном зале с колоннами. Он предложил ей стать хозяйкой бала и она согласилась. Сообщил, что девушка сама королевской крови, поскольку является потомком французской королевы Марго.

Они пришли в маленькую комнатку, где находились Азазелло, кот Бегемот, нагая ведьма Гелла и Воланд. Страх сковывал душу девушки, но ей все кланялись, называя королевой. Так же ее назвал и Воланд своим невероятно низким голосом. Они понаблюдали игру в шахматы и вскоре Маргарита перестала бояться сатану, а она ему очень понравилась.

Глава 23. Великий бал у сатаны

Королеву Марго начали приводить в порядок перед балом, используя разнообразные волшебные мази, растирания, надели на голову бриллиантовый венец, а на шею – овальное изображение черного пуделя на толстой цепи. Коровьев напутствовал Маргариту быть вежливой со всеми гостями и уделить внимание каждому, даже если он и не нравится ей.

Они оказались в роскошных залах, которые сменяли друг друга по ходу их движения, все вокруг было шикарным, блестящим, невероятным. Коровьев постоянно инструктировал Маргариту. Начали прибывать гости, которые целовали правое колено и руку королевы в знак приветствия. Мужчины были во фраках, а женщины – голыми, но с перьями в волосах и в туфлях. Когда все гости, которых были несметные полчища наконец прошли, нога и рука Маргариты, которые целовали, распухли и ужасно болели. Но служанки привели ее в чувства и они полетели по всем пышным залам, глее веселились гости.

Коровьев и кот Бегемот не оставляли ее ни на минуту. Ближе к концу вечера появился Воланд в сопровождении Азазелло, но одет от был так же, как его впервые встретила королева: грязная сорочка, домашние расхоженные тапочки. На блюде ему вынесли голову Берлиоза и он снова спросил у того, верит ли он, что голова после отсечения от тела – мертва и все превращается в прах. Толпы танцующих были тому опровержением. Но каждому воздается по вере его.

Глава 24. Извлечение Мастера

В комнате Воланда обстановка та же самая, что была и до бала. Азазелло, Коровьев и кот Бегемот сняли свои фраки и переоделись в более удобную одежду, они просто отдыхали, Гелла накрывала ужин. И сатана объяснил Маргарите, что ночь полнолуния – праздничная, поэтому он ужинает со всей своей свитой, слугами и приближенными.

Когда веселый ужин подошел к концу, Маргарита засобиралась домой, хотя и понимала, что идти ей некуда, а возвращаться в тот особняк ей совершенно не хотелось. Тогда она сама предложила Воланду остаться у него и выполнять, все, что ему будет угодно, быть полезной ему.

Сатана похвалил гордость девушки и сам предложил выполнить любое ее пожелание. Маргарита попросила лишить страданий Фриду – женщину убившую платком своего новорожденного ребенка, поскольку ей нечем было его кормить. Воланд удивился этому желанию, акту сострадания, но выполнил его. Но предложил девушке выбрать что-то для себя лично и Маргарита без раздумий потребовала сейчас же вернуть ей ее любовника Мастера. Через минуту Мастер действительно оказался в комнате, но вел себя рассеянно, был напуган, думал, что все ему мерещится. На его возражение о том, что ничего вернуть нельзя и сделать все как раньше не получится, прямо с потолка комнаты свалился Алоизий Магарыч, который в свое время нажаловался на Мастера и занял его комнаты. Его выгнали оттуда, чтобы Мастер мог вернуться в свое жилье. Также уничтожили все бумаги о пребывании последнего в психиатрической клинике, а взамен ему и Маргарите выдали новые документы. Наташа упросила оставить ее в ведьмах, она не захотела возвращаться домой. Николая Ивановича уже в человеческом обличии с позором выгнали обратно домой, выдав ему справку о том, что отсутствовал по причине нахождения на балу у сатаны в виде борова.

Едва пропал Николай Иванович, на его месте оказался Варенуха, умоляя исключить его из числа вампиров и отпустить с миром домой, что и было сделано. Воланд пожелал остаться наедине с Мастером и Маргаритой. Он еще раз уточнил, действительно ли человек, написавший роман о Понтии Пилате, хочет вернуться жить в подвал и нищенствовать. Но мастер совершенно сломлен и уже ничего другого больше не хочет. Тогда Воланд предсказывает, что роман еще удивит его автора, но ничего плохого больше не произойдет. На прощание дарит паре

золотую подкову, усыпанную бриллиантами.

Когда свита Воланда провожала пару, откуда ни возьмись появилась та самая Аннушка, которая разлила масло для несчастного Берлиоза. Это была сухонькая, странная женщина и ее называли чумой, поскольку всегда как только она где-то появлялась, начинался скандал и брань. Она жила в том же доме в 48-й квартире. Ей не спалось и она увидела всю странную процессию провожающих. Внезапно она услышала, как что-то не громко упало на пол. Оказалось, что это та подкова, которую подарил Воланд и Маргарита ее случайно уронила. Жадная старушка уже планировала ее распилить и по одному камушку сбыть, но тут появился Азазелло и отобрал вещь обратно.

А Маргарита вскоре действительно вместе с мастером оказалась в их скромном жилище и все было по-прежнему, как-будто и не было всех этих приключений с ними.

Глава 25. Как прокуратор пытался спасти Иуду

Тем временем, в Ершалаиме продолжает бушевать небывалая гроза. Ужасная туча поглотила город четырнадцатого числа весеннего месяца нисана. Постепенно она превратилась в настоящий ураган, крушащий все на своем пути, с сильнейшими ударами грома и вспышками молний, с реками дождя и града.

Пока город прятался от непогоды, под колоннами на небольшом ложе возлежал прокуратор. Он ел, пил и упивался природным буйством. Также он ожидал встречи с кем-то, постоянно всматриваясь в сад. Ураган начал стихать, гроза почти закончилась. Наконец, пришел таинственный гость, которого Понтий Пилат встретил очень тепло. Они поели, выпили вина и последний заверил прокуратора, что теперь в городе все спокойно, часть армии можно выслать оттуда за ненадобностью, а сам Понтий может покинуть ненавистный ему Ершалаим. Гость оказался заведующим тайной службы при прокураторе Иудеи. Ему же было поручено тайно похоронить тела казненных преступников так, чтобы никто не знал где их могилы. Особенно его интересовали подробности гибели Га-Ноцри (Иешуа) и он опасался, что у того могли быть последователи, единомышленники. Поэтому было решено как можно скорее избавиться от тела. Также игемон сообщает Афранию (так зовут заведующего) о том, что на Иуду из Кириафа, который выдал Га-Ноцри правосудию за деньги, готовится покушение и просит охранять его.

Глава 26. Погребение

Понтий Пилат остался наедине и переживания вперемежку со страхом и ощущением того, что он что-то сделал ужасно не правильно, терзали его душу. Тогда он позвал единственное существо, которое искренне любил и которое отвечало ему взаимностью – огромного пса Банга.

Начальник тайной службы же, занялся поручением игемона. Он попросил девушку Низу, к которой часто приходил Иуда, хотя та и была замужем, отвести его с собой за город. Они условились с Иудой встретиться в гроте, но прийти туда разными путями, чтобы их не видели вместе. Влюбленный юноша со всех ног пообедал в условленное место, на там вместо возлюбленной Низы встретил двух убийц, которые отобрали его кошель с деньгами за предательство и убили его самого. Третий убийца руководил первыми двумя и велел им скрыться, а сам склонился над телом Иуды.

Понтий Пилат улегся спать прямо на балконе и ему приснился странный сон, в котором Га-Ноцри был жив, здоров и они о чем-то спорили. Но даже во сне игемон понимал, что ни за что не обречет на казнь такого замечательного философа и врача. Он убедил себя, что казни вовсе не было.

Афраний является у прокуратору с сообщением, что Иуду спасти не удалось. А всех троих казненных преступников похоронили. Левий Матвей прятал тело Иешуа и тоже присутствовал при захоронении. Понтий Пилат захотел с ним поговорить. Попросил посмотреть хартию, которую при жизни написал Иешуа, но почти ничего не понял. Предложил Левию Матвею работать на него в Кесарии, разбирать его библиотеку, но тот отказался. Заявил, что считает теперь делом своей жизни убить Иуду, но игемон сказал ему, что Иуда уже убит и сделал это сам Понтий Пилат.

Глава 27. Конец квартиры № 50

Утро застает Маргариту за чтением романа мастера о Понтии Пилате. Она читала всю ночь и теперь уставшая легла спать.

Но не до сна целому этажу в одном из московских учреждений – они расследуют дело Воланда. Постепенно следствие пришло к выводу о том, что причина безобразий, постигших варьете, проживает именно в квартире № 50 на улице Садовой, однако ни один из обысков этой злополучной квартиры, результатов не дал. Черного мага также разыскать не удалось. Зато, нашелся Римский – он прятался в платяном шкафу гостиницы «Астория» в Ленинграде, был очень напуган, ничего внятно сказать не мог, просил только хорошенько его охранять. К вечеру пятницы обнаружился и след Лиходеева – он был в Ялте и теперь отправился Москву. Совсем никак не могли найти только Варенуху. Самым скандальным было загадочное исчезновение головы бедного Берлиоза прямо из гроба.

В клинике профессора Стравинского нашлись Никанор Иванович Босой – управляющий жилищным хозяйством, конферансье и поэт Иван Николаевич Бездомный. Последний совершенно изменил свое поведение и уже не желал ни о чем говорить со следствием, не стремился никого остановить.

Между тем, квартира № 50 совершенно выводила из себя следователей: там периодически кто-то отвечал на телефон, открывал окна, слушал патефон, но обнаружить никого ни разу не удалось. К утру субботы нашли Варенуху. Следователи опросили всех, кого смогли найти, но толку с этого было мало. И вот, в субботу треклятая квартира снова «ожила». Туда немедленно выехали следователи в штатском. На этот раз им удалось найти остатки завтрака и огромного черного кота с примусом. Говорящего кота. Его пытались поймать, даже ранили. Но добыть его так и не смогли. Между тем, мессиру было пора покидать Москву – близился вечер субботы и кот исчез из поля зрения следователей, которые пытались его поймать. А уходя, он плеснул в квартиру бензина и поджег. Начался сильный пожар и с улицы можно было рассмотреть темные силуэты удаляющихся трех мужчин и обнаженной женщины.

Глава 28. Последние похождения Коровьева и Бегемота

В это время на Смоленском рынке около торгсина показались отгромный черный кот и гражданин в клетчатом. После некоторого сопротивления, их все же запустили в магазин. Внутри все было замечательно устроено и очень понравилось Коровьеву и Бегемоту. Последний нагло взял мандарин и спорол его вместе с кожурой. Продавщица была в ужасе и пока она звала на помощь, кот поживился шоколадкой и селедкой. Коровьев все это время пытался объяснить, что валюты у бедных честных людей быть не может. Завязалась потасовка, все смешалось, кто-то позвал милицию. Тогда Бегемот из своего примуса снова плеснул в магазин бензина и он сам по себе загорелся. Люди кинулись в рассыпную.

Через минуту Коровьев и Бегемот были на бульваре напротив писательского дома, ранее принадлежавшего, по слухам, тетке Грибоедова. Они решили посетить знаменитый ресторан, но их не пускали туда без удостоверения. Шеф ресторана – Арчибальд Арчибальдович распорядился их пропустить, поскольку слушал сплетни, гуляющие по Москве в отношении клетчатого и кота. Увидев их, сразу узнал и решил не ссориться.

Гости заказали шикарный обед, но продлился он не долго в связи с тем, что в ресторане появились люди с пистолетами, намереваясь застрелить Коровьева и Бегемота. Последние сразу растаяли в воздухе, а из примуса снова хлынул бензин, и снова начался пожар, охватив не только ресторан, но и весь литературный дом.

Глава 29. Судьба Мастера и Маргариты определена

Пока Воланд и Азазелло любовались Москвой и заревом от пожара, устроенного Коровьевым и Бегемотом, внезапно появляется Левий Матвей с сообщением от Иещуа о том, чтобы сатана забрал мастера и Маргариту с собой, даруя им покой. Света они не заслужили, только покой. Воланд отправил Азазелло разобраться с этим.

Парочка Коровьев и Бегемот явились отчитаться о своих приключениях. Но в их услугах сейчас сатана не нуждался и отправил их отдыхать. Над городом повисла огромная черная туча, все стемнело, посвежело и разразилась последняя гроза, которая должна была довершить все начатое и после этого Воланд со свитой собирались в путь.

Глава 30. Пора! Пора!

Мастер и Маргарита проспали до субботнего заката и проснувшись нашли накрытый всякой едой стол. Одеты они были так же, как раньше – на Маргарите черный плащ на голое тело, а на мастере – больничный халат. Молодая пара размышляла о том как жить дальше. В это время их навестил Азазелло с поручением от Воланда – приглашением на прогулку. И с подарком от него же – тем самым вином, которое пил прокуратор.

Едва пригубив вина, оба погибают. Азазелло отправляется в особняк, где живет Маргарита Николаевна и убеждается, что та тоже мертва. Потом он наливает по нескольку капель того же вина, что их отравило, в рот мастера и Маргариты и те оживают. Азазелло говорит, что пора в путь. В их прежнем жилище в подвале бушует пожар, а Мастер и Маргарита уже унеслись на черных, горячих конях.

Для того, чтобы попрощаться с поэтом Иваном мастер со своей подругой отправляются в клинику Стравинского, пока Азазелло ждет их снаружи. Теперь Ивану предстоит написать продолжение романа мастера. Маргарита целует его в лоб и говорит, что у того тоже все наладится и будет хорошо. Они растворяются в воздухе и улетают.

Входит фельдчерица Прасковья Федоровна и сообщает, что сосед Иванушки скончался, но тот совершенно не удивлен. Он знает об этом.

Глава 31. На Воробьевых горах

На трех черных конях всадники: Воланд, Коровьев и Бегемот дождались Азазелло с мастером и Маргаритой. Сатана просит пару не гневаться на него и предлагает мастеру навсегда попрощаться с городом. Пока он прощается с Москвой, Бегемот и Коровьев свистят, чтобы поразвлечься.

Наконец, когда с прощанием было покончено, все вместе взмыли и улетели куда-то очень высоко и очень далеко.

Глава 32. Прощение и вечный приют

По мере того, как вся компания удалялась от земли, менялся их облик. Коровьев стал темно-фиолетовым мрачным рыцарем, Бегемот – худеньким юношей демоном-пажем, Азазелло – демоном безводной пустыни, демоном-убийцей, волосы мастера побелели и были сплетены в косу, а на ногах сверкали шпоры. Сам Воланд тоже принял свое настоящее обличие: его конь казался глыбой мрака, туча – гривой коня, а шпоры – звездами.

Так они летели, пока не оказались над серыми валунами, в которые не проникал даже свет луны. Воланд спешился с коня и то же самое сделали его спутники. Дальше они пошли пешком. Через какое-то время Маргарита увидела белую фигуру человека, сидящего в кресле, но он был слеп и глух. Рядом с этим человеком была огромная собака, которая тоже невидящими глазами смотрела на луну. Воланд говорит мастеру, что перед ним герой его романа, но роман, к сожалению, не закончен. Вот уже почти две тысячи лет так и сидит этот человек на своем кресле и спит, но в полнолуние его мучает бессонница.

Маргарита начала кричать, чтобы Воланд отпустил этого человека, но тот лишь засмеялся. Мастеру было позволено закончить роман только одной фразой, сказав которую, горы вокруг этого человека рухнули и появилась та самая лунная дорожка, по которой все мечтал пройти человек.

Воланд указал на тропинку для мастера и Маргариты и распрощался с ними. Они прошли каменистый мостик и увидели красивый дом впереди, вечное жилище мастера и Маргариты. Они знали, что теперь им уготовано простое тихое счастье.

Эпилог

Между тем, по Москве поползли слухи один другого нелепее. В конце концов, решили, что все эти безобразные фокусы проделывала компания профессиональных гипнотизеров. Сам Воланд просто исчез вместе со всеми своими дружками. Говорили, что он бежал за границу, но и там никак не проявлял себя.

Следствие шло очень долго, но результатов никаких, разумеется, не дало. Из-за мнительности людей было истреблено около ста черных котов. Арестованы граждане с фамилиями, похожими на «Воланд», нашлись даже Коровкины и Караваевы – словом, посещение Воландом Москвы вызвало сильнейший общественный резонанс.

Конферансье так и не вернулся на работу в варьете. Варенуха стал чрезвычайно вежлив и услужлив. Лиходеева перевели в другой город заведовать магазином. Римский уволился из варьете и стал работать в театре детских кукол в Замоскворечье. Никанор Иванович Босой возненавидел театр и все, что с ним так или иначе связано. Алоизий Могарыч стал финдиректором варьете, вместо Римского.

Каждый год во время весеннего полнолуния на Патриарших прудах появляется зеленоглазый рыжеватый человек, лет тридцати с небольшим – профессор Иван Николаевич Понырев. Он знает, что в молодости подвергся пагубному влиянию шайки гипнотизеров, но с тех пор вылечился. Только каждое полнолуние неудержимо его влечет на Патриаршие пруды. Не известно профессору и почему его так сильно влечет к себе старинный особняк. Во дворе этого особняка всегда один и тот-же хорошо одетый, но странный старик, который разговаривает с воздухом и сожалеет, что тогда вернулся обратно, что струсил.

Самого Ивана жестоко мучают видении о странном человеке с собакой, казнью, древним городом., лунной дорожкой, Понтием Пилатом. Он ничего не понимает и ничего не может вспомнить. После полнолуния его жизнь вновь приходит в норму.

Собачье сердце

Раздается жалобный вой собаки и ее горькие размышления о том, как жестоки люди. Этому псу повар кипятком обварил левый бок и болит рана ужасно, а еще, хочется есть и не понятно как быть дальше, поэтому он постоянно скулит от боли и от отчаяния. Чтобы отвлечь себя, рассуждает о жизни машинисток, которые всю жизнь ходят в подаренных тонких чулках и тоже мучаются по многим причинам.

Через улицу появляется хорошо одетый господин в добротном пальто, от него пахнет сигарами и больницей, зовут его Филипп Филиппович. Он направился прямо в подворотню, купил колбасы и угостил ей погибающее животное. Убедился, что на псе нет ошейника и удовлетворенно поманил за собой – именно его господин и искал. Поманил его за собой и провел прямо в дом, мимо швейцара Федора.

В квартире их встретила молодая красивая женщина Зина в чистом, белом переднике. Помогла раздеться господину. Пса было решено сейчас же отправить в смотровую. Но там он решил, что попал в собачью лечебницу и оказал сопротивление насколько это было возможно. Разбил несколько дверей, шкафов и банок, но в итоге его все же скрутили и он думал, что теперь точно погибнет.

Но он не погиб. Ему позволили присутствовать на приеме пациентов профессора Преображенского. Видел он и четверых странных людей из управления дома, которые претендовали на комнаты в квартире профессора. Люди, под предводительством Швондера настаивали, что следует уплотнить жилплощадь и семь комнат – это непозволительная роскошь даже для профессора медицины.

После невероятно шикарного обеда в компании доктора Борменталя, Преображенский лениво рассуждает о тяготах современной жизни. Дескать и то не так, и это не эдак. Сытая и довольная жизнь пса продолжалась до того самого дня, когда внезапно все перевернулось с ног на голову.

Шарик с утра чувствовал неладное. Явился доктор Борменталь с дурно пахнущим чемоданом. Все засуетились. Самого пса отправили на операционный стол. Затем ему сделали эту операцию, понимая, что тот скорее всего не выживет.

Далее представлен дневник доктора Борменталя, из которого следует подробное описание состояния Шарика, его операции и ежедневный отчет о состоянии здоровья пса. Постепенно тот начал оживать, появился аппетит, он начал пытаться произнести

слова. Потом – ходить на задних лапах, как человек и ругаться/ материться тоже как человек. Шарик теперь говорил много слов, отчаянно ругался, а по городу поползли слухи. Сам Преображенский занемог. У бывшей собаки вытянулись задние конечности, а доктор осознал, что пересадка гипофиза ведет не к омоложению организма, а к его очеловечиванию.

Тем временем по Москве слухи разлетались быстро, обрастая новыми невероятными подробностями. Шарик вел себя скверно: ругался, кидал объедки на пол, хамил, начал курить и пр.

Когда Преображенский сделал ему замечание по поводу поведения и внешнего вида, Шарик обвинил его (и совершенно правильно обвинил!) в том, что не просил ни о какой операции, никакого морального права врач не имел ставить свои опыты на живых созданиях. Также он начал требовать документ, удостоверяющий личность для себя на имя Полиграф Полиграфович Шариков, а также, прописку в квартире профессора, по совету Швондера.

Отношения Преображенского и Шарика были безобразными и постоянно ухудшались. Бывший пес в человеческом обличье показал свои самые дурные стороны, привычки, склонности и характер. Когда однажды в дом профессора забежал кот, Шарик за ним погнался, в итоге разгромив всю квартиру и устроив потоп.

Взаимоотношения продолжали ухудшаться, Шарик повадился много пить и воровать вещи, заявил о своем праве на долю в квартире профессора.

Однажды он просто пропал и не показывался дома три дня. Потом нагло заявился и сообщил, что теперь занимает должность старшего по очистке улиц города от котов. Еще через некоторое время привел в дом девицу и заявил, что расписывается с ней, поэтому она будет жить с ним. Преображенский уговорил девушку бежать от этого врун, что та и сделала. Последней каплей в чашу терпения профессора стало то, что он узнал о жалобе Шарикова на себя, Борменталя, Зину и вообще всех, живущих в квартире.

Оскорбленный профессор выгнал Шарикова из квартиры, но тот наотрез отказался, стал сопротивляться, завязалась потасовка и участь этого недотепы была решена.

Через десять дней после скандала в доме, явилась уголовная милиция с обвинением в убийстве Полиграфа Полиграфовича Шарикова, но профессор Преображенский, который к этому моменту совершенно поправился, возразил, что гражданина Шарикова никто не убивал, выпустив из соседней двери живую собаку Шарика. На всеобщее недоумение ответил, что наука не

знает как превращать животных в людей и наоборот, он просто попробовал, но не удачно и природа все равно взяла свое.

Слухи о невероятном происшествии еще долго бороздили Москву, в дом к профессору Преображенскому пытались разными путями пробраться любопытные для того, чтобы посмотреть на «говорящую» собачку. Представители жилищного хозяйства во главе со Швондером, более не беспокоили профессора.

Роковые яйца

16 апреля 1928 года, вечером, профессор зоологии IV государственного университета и директор зооинститута в Москве Персиков вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся.

Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер, равно как первопричиною этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова.

Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпячена вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные маленькие очки в серебряной оправе, глазки блестящие, небольшие, росту высокого, сутуловат. Говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом и среди других странностей имел такую: когда говорил что-либо веско и уверенно, указательный палец правой руки превращал в крючок и щурил глазки. А так как он говорил всегда уверенно, ибо эрудиция в его области у него была совершенно феноменальная, то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников профессора Персикова. А вне своей области, т. е. зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники и географии, профессор Персиков почти никогда не говорил.

Газет профессор Персиков не читал, в театр не ходил, а жена профессора сбежала от него с тенором оперы Зимина в 1913 году, оставив ему записку такого содержания:

Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них.

Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, но отходчив, любил чай с морошкой, жил на Пречистенке, в квартире из 5 комнат, одну из которых занимала сухонькая старушка, экономка Марья Степановна, ходившая за профессором как нянька.

В 1919 году у профессора отняли из 5 комнат 3. Тогда он заявил Марье Степановне:

– Если они не прекратят эти безобразия, Марья Степановна, я уеду за границу.

Нет сомнения, что если бы профессор осуществил этот план, ему очень легко удалось бы устроиться при кафедре зоологии в любом университете мира, ибо ученый он был совершенно

первоклассный, а в той области, которая так или иначе касается земноводных или голых гадов, и равных себе не имел за исключением профессоров Уильяма Веккля в Кембридже и Джиакомо Бартоломео Беккари в Риме. Читал профессор на 4 языках, кроме русского, а по-французски и немецки говорил как по-русски. Намерения своего относительно заграницы Персиков не выполнил, и 20-й год вышел еще хуже 19-го. Произошли события, и притом одно за другим. Большую Никитскую переименовали в улицу Герцена. Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герцена и Моховой, остановились на 11 с 1/4, и, наконец, в террариях зоологического института, не вынеся всех пертурбаций знаменитого года, издохли первоначально 8 великолепных экземпляров квакшей, затем 15 обыкновенных жаб и, наконец, исключительнейший экземпляр жабы Суринамской.

Непосредственно вслед за жабами, опустошившими тот первый отряд голых гадов, который по справедливости назван классом гадов бесхвостых, переселился в лучший мир бессменный сторож института старик Влас, не входящий в класс голых гадов. Причина смерти его, впрочем, была та же, что и у бедных гадов, и ее Персиков определил сразу:

– Бескормица!

Ученый был совершенно прав: Власа нужно было кормить мукой, а жаб мучными червями, но поскольку пропала первая, постольку исчезли и вторые. Персиков оставшиеся 20 экземпляров квакш попробовал перевести на питание тараканами, но и тараканы куда-то провалились, показав свое злостное отношение к военному коммунизму. Таким образом, и последние экземпляры пришлось выкинуть в выгребные ямы на дворе института.

Действие смертей и в особенности Суринамской жабы на Персикова не поддается описанию. В смертях он целиком почему-то обвинил тогдашнего наркома просвещения.

Стоя в шапке и калошах в коридоре выстывающего института, Персиков говорил своему ассистенту Иванову, изящнейшему джентльмену с острой белокурой бородкой:

– Ведь за это же его, Петр Степанович, убить мало! Что же они делают? Ведь они ж погубят институт! А? Бесподобный самец, исключительный экземпляр Пипа американа, длиной в 13 сантиметров…

Дальше пошло хуже. По смерти Власа окна в институте промерзли насквозь, так что цветистый лед сидел на внутренней поверхности стекол. Издохли кролики, лисицы, волки, рыбы и все до единого ужи. Персиков стал молчать целыми днями, потом заболел воспалением легких, но не умер. Когда оправился,

приходил два раза в неделю в институт и в круглом зале, где было всегда, почему-то не изменяясь, 5 градусов мороза, независимо от того, сколько на улице, читал в калошах, в шапке с наушниками и в кашне, выдыхая белый пар, 8 слушателям цикл лекций на тему «Пресмыкающиеся жаркого пояса». Все остальное время Персиков лежал у себя на Пречистенке на диване, в комнате, до потолка набитой книгами, под пледом, кашлял и смотрел в пасть огненной печурке, которую золочеными стульями топила Марья Степановна, вспоминал Суринамскую жабу.

Но все на свете кончается. Кончился 20-й и 21-й год, а в 22-м началось какое-то обратное движение. Во-первых: на месте покойного Власа появился Панкрат, еще молодой, но подающий большие надежды зоологический сторож, институт стали топить понемногу. А летом Персиков, при помощи Панкрата, на Клязьме поймал 14 штук вульгарных жаб. В террариях вновь закипела жизнь… В 23-м году Персиков уже читал 8 раз в неделю – 3 в институте и 5 в университете, в 24-м году 13 раз в неделю и, кроме того, на рабфаках, а в 25-м, весной, прославился тем, что на экзаменах срезал 76 человек студентов и всех на голых гадах:

– Как, вы не знаете, чем отличаются голые гады от пресмыкающихся? – спрашивал Персиков. – Это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых гадов. Они отсутствуют. Так-то-с. Стыдитесь. Вы, вероятно, марксист?

– Марксист, – угасая, отвечал зарезанный.

– Так вот, пожалуйста, осенью, – вежливо говорил Персиков и бодро кричал Панкрату: – Давай следующего!

Подобно тому, как амфибии оживают после долгой засухи при первом обильном дожде, ожил профессор Персиков в 1926 году, когда соединенная американо-русская компания выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской, в центре Москвы, 15 пятнадцатиэтажных домов, а на окраинах – 300 рабочих коттеджей, каждый на 8 квартир, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919-1925.

Вообще это было замечательное лето в жизни Персикова, и порою он с тихим и довольным хихиканьем потирал руки, вспоминая, как он жался с Марьей Степановной в 2 комнатах. Теперь профессор все 5 получил обратно, расширился, расположил две с половиной тысячи книг, чучела, диаграммы, препараты, зажег на столе зеленую лампу в кабинете.

Институт тоже узнать было нельзя: его покрыли кремовою краской, провели по специальному водопроводу воду в комнату гадов, сменили все стекла на зеркальные, прислали 5 новых микроскопов, стеклянные препарационные столы, шары по 2000

ламп с отраженным светом, рефлекторы, шкапы в музей.

Персиков ожил, и весь мир неожиданно узнал об этом, лишь только в декабре 1926 года вышла в свет брошюра: «Еще к вопросу о размножении бляшконосых или хитонов», 126 стр., «Известия IV Университета».

А в 1927-м, осенью, капитальный труд в 350 страниц, переведенный на 6 языков, в том числе и японский: «Эмбриология пип, чесночниц и лягушек». Цена 3 руб. Госиздат.

А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное…

Глава 2. Цветной завиток

Итак, профессор зажег шар и огляделся. Зажег рефлектор на длинном экспериментальном столе, надел белый халат, позвенел какими-то инструментами на столе…

Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегавших в 28-м году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам, и через каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к Моховой трамвай 16, 22, 48 или 53-го маршрута. Отблески разноцветных огней забрасывал в зеркальные стекла кабинета, и далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой храма Христа туманный, бледный месячный серп.

Но ни он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехногом табурете и побуревшими от табаку пальцами вертел кремальеру великолепного цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный неокрашенный препарат свежих амеб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с 5 на 10 тысяч, дверь приоткрылась, показалась остренькая бородка, кожаный нагрудник, и ассистент позвал:

– Владимир Ипатьевич, я установил брыжжейку, не хотите ли взглянуть?

Персиков живо сполз с табурета, бросил кремальеру на полдороге и, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка была распята на пробковом штативе, а ее прозрачные слюдяные внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп.

– Очень хорошо, – сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа.

Очевидно, что-то очень интересное можно было рассмотреть в брыжжейке лягушки, где, как на ладони видные, по рекам сосудов бойко бежали живые кровяные шарики. Персиков забыл о своих амебах и в течении полутора часов по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба ученых перебрасывались оживленными, но непонятными простым смертным словами.

Наконец Персиков отвалился от микроскопа, заявив:

– Сворачивается кровь, ничего не поделаешь.

Лягушка тяжко шевельнула головой, и в ее потухающих глазах были явственны слова: «сволочи вы, вот что…»

Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся, вернулся в свой

кабинет, зевнул, потер пальцами вечно воспаленные веки и, присев на табурет, заглянул в микроскоп, пальцы он наложил на кремальеру и уже собирался двинуть винт, но не двинул. Правым глазом видел Персиков мутноватый белый диск и в нем смутных белых амеб, а посредине диска сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков, и сотни его учеников видели очень много раз и никто не интересовался им, да и незачем было. Цветной пучок света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли. Причиной этого был правый глаз Персикова, он вдруг насторожился, изумился, налился даже тревогой. Не бездарная посредственность на горе республике сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков! Вся жизнь, его помыслы сосредоточились в правом глазу. Минут пять в каменном молчании высшее существо наблюдало низшее, мучая и напрягая глаз над стоящим вне фокуса препаратом. Кругом все молчало. Панкрат заснул уже в своей комнате в вестибюле, и один только раз в отдалении музыкально и нежно прозвенели стекла в шкапах – это Иванов, уходя, запер свой кабинет. За ним простонала входная дверь. Потом уже послышался голос профессора. У кого он спросил – неизвестно.

– Что такое? Ничего не понимаю…

Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, колыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руку над микроскопом, так, словно мать над дитятей, которому угрожает опасность. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы Персиков двинул винт, о нет, он боялся уже, чтобы какая-нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидел.

Было полное белое утро с золотой полосой, перерезавшей кремовое крыльцо института, когда профессор покинул микроскоп и подошел на онемевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку, и черные глухие шторы закрыли утро, и в кабинете ожила мудрая ученая ночь. Желтый и вдохновенный Персиков растопырил ноги и заговорил, уставившись в паркет слезящимися глазами:

– Но как же это так? Ведь это же чудовищно!.. Это чудовищно, господа, – повторил он, обращаясь к жабам в террарии, но жабы спали и ничего ему не ответили.

Он помолчал, потом подошел к выключателю, поднял шторы, потушил все огни и заглянул в микроскоп. Лицо его стало

напряженным, он сдвинул кустоватые желтые брови.

– Угу, угу, – пробурчал он, – пропал. Понимаю. По-о-нимаю, – протянул он сумасшедше и вдохновенно, глядя на погасший шар над головой, – это просто.

И он вновь опустил шипящие шторы и вновь зажег шар. Заглянул в микроскоп, радостно и как бы хищно осклабился.

– Я его поймаю, – торжественно и важно сказал он, поднимая палец кверху. – Поймаю. Может быть и от солнца.

Опять шторы взвились. Солнце было налицо. Вот оно залило стены института и косяком легло на торцах Герцена. Профессор смотрел в окно, соображая, где будет солнце днем. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая, и наконец животом лег на подоконник.

Приступил к важной и таинственной работе. Стеклянным колпаком накрыл микроскоп. На синеватом пламени горелки расплавил кусок сургуча и края колокола припечатал к столу, а на сургучных пятнах оттиснул свой большой палец. Газ потушил, вышел и дверь кабинета запер на английский замок.

Полусвет был в коридорах института. Профессор добрался до комнаты Панкрата и долго и безуспешно стучал в нее. Наконец, за дверью послышалось урчанье как бы цепного пса, харканье и мычанье, и Панкрат в полосатых подштанниках, с завязками на щиколотках предстал в светлом пятне. Глаза его дико уставились на ученого, он еще легонько подвывал со сна.

– Панкрат, – сказал профессор, глядя на него поверх очков, – извини, что я тебя разбудил. Вот что, друг, в мой кабинет завтра утром не ходить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя. Понял?

– У-у-у, по-по-понял, – ответил Панкрат, ничего не поняв. Он пошатывался и рычал.

– Нет, слушай, ты проснись, Панкрат, – молвил зоолог и легонько потыкал Панкрата в ребра, отчего у того на лице получился испуг и некоторая тень осмысленности в глазах. – Кабинет я запер, – продолжал Персиков, – так убирать его не нужно до моего прихода. Понял?

– Слушаю-с, – прохрипел Панкрат.

– Ну вот и прекрасно, ложись спать.

Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обрушился в постель, а профессор стал одеваться в вестибюле. Он надел серое летнее пальто и мягкую шляпу, затем, вспомнив про картину в микроскопе, уставился на свои калоши, словно видел их впервые. Затем левую надел и на левую хотел надеть правую, но та не полезла.

– Какая чудовищная случайность, что он меня отозвал, –

сказал ученый, – иначе я его так бы и не заметил. Но что это сулит?.. Ведь это сулит черт знает что такое!..

Профессор усмехнулся, прищурился на калоши и левую снял, а правую надел. – Боже мой! Ведь даже нельзя представить себе всех последствий… – Профессор с презрением ткнул левую калошу, которая раздражала его, не желая налезать на правую, и пошел к выходу в одной калоше. Тут же он потерял носовой платок и вышел, хлопнув тяжелою дверью. На крыльце он долго искал в карманах спички, хлопая себя по бокам, нашел и тронулся по улице с незажженной папиросой во рту.

Ни одного человека ученый не встретил до самого храма. Там профессор, задрав голову, приковался к золотому шлему. Солнце сладостно лизало его с одной стороны.

– Как же раньше я не видал его, какая случайность?.. Тьфу, дурак, – профессор наклонился и задумался, глядя на разно обутые ноги, – гм… как же быть? К Панкрату вернуться? Нет, его не разбудишь. Бросить ее, подлую, жалко. Придется в руках нести. – Он снял калошу и брезгливо понес ее.

На старом автомобиле с Пречистенки выехали трое. Двое пьяных и на коленях у них ярко раскрашенная женщина в шелковых шароварах по моде 28-го года.

– Эх, папаша! – крикнула она низким сиповатым голосом. – Что ж ты другую-то калошу пропил!

– Видно, в Альказаре набрался старичок, – завыл левый пьяненький, правый высунулся из автомобиля и прокричал:

– Отец, что, ночная на Волхонке открыта? Мы туда!

Профессор строго посмотрел на них поверх очков, выронил изо рта папиросу и тотчас забыл об их существовании. На Пречистенском бульваре рождалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло солнце.

Глава 3. Персиков поймал

Дело было вот в чем. Когда профессор приблизил свой гениальный глаз к окуляру, он впервые в жизни обратил внимание на то, что в разноцветном завитке особенно ярко и жирно выделялся один луч. Луч этот был ярко-красного цвета и из завитка выпадал, как маленькое острие, ну, скажем, с иголку, что ли.

Просто уж такое несчастье, что на несколько секунд луч этот приковал наметанный взгляд виртуоза.

В нем, в луче, профессор разглядел то, что было тысячу раз значительнее и важнее самого луча, непрочного дитяти, случайно родившегося при движении зеркала и объектива микроскопа. Благодаря тому, что ассистент отозвал профессора, амебы пролежали полтора часа под действием этого луча и получилось вот что: в то время, как в диске вне луча зернистые амебы валялись вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал красный заостренный меч, происходили странные явления. В красной полосочке кипела жизнь. Серенькие амебы, выпуская ложноножки, тянулись изо всех сил в красную полосу и в ней (словно волшебным образом) оживали. Какая-то сила вдохнула в них дух жизни. Они лезли стаей и боролись друг с другом за место в луче. В нем шло бешеное, другого слова не подобрать, размножение. Ломая и опрокидывая все законы, известные Персикову как свои пять пальцев, они почковались на его глазах с молниеносной быстротой. Они разваливались на части в луче, и каждая из частей в течении 2 секунд становилась новым и свежим организмом. Эти организмы в несколько мгновений достигали роста и зрелости лишь затем, чтобы в свою очередь тотчас же дать новое поколение. В красной полосе, а потом и во всем диске стало тесно, и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных лежали трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объемом приблизительно в два раза превышали обыкновенных амеб, а во-вторых, отличались какой-то особенной злостью и резвостью. Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими, без преувеличения, как спруты щупальцами.

Во второй вечер профессор, осунувшийся и побледневший, без пищи, взвинчивая себя лишь толстыми самокрутками, изучал новое поколение амеб, а в третий день он перешел к первоисточнику, то есть к красному лучу.

Газ тихонько шипел в горелке, опять по улице шаркало движение, и профессор, отравленный сотой папиросою, полузакрыв глаза, откинулся на спинку винтового кресла.

– Да, теперь все ясно. Их оживил луч. Это новый, не исследованный никем, никем не обнаруженный луч. Первое, что придется выяснить, это – получается ли он только от электричества или также и от солнца, – бормотал Персиков самому себе.

И в течение еще одной ночи это выяснилось. В три микроскопа Персиков поймал три луча, от солнца ничего не поймал и выразился так:

– Надо полагать, что в спектре солнца его нет… гм… ну, одним словом, надо полагать, что добыть его можно только от электрического света. – Он любовно поглядел на матовый шар вверху, вдохновенно подумал и пригласил к себе в кабинет Иванова. Он все ему рассказал и показал амеб.

Приват-доцент Иванов был поражен, совершенно раздавлен: как же такая простая вещь, как эта тоненькая стрела, не была замечена раньше, черт возьми! Да кем угодно, и хотя бы им, Ивановым, и действительно это чудовищно! Вы только посмотрите…

– Вы посмотрите, Владимир Ипатьевич! – говорил Иванов, в ужасе прилипая глазом к окуляру. – Что делается?! Они растут на моих глазах… Гляньте, гляньте…

– Я их наблюдаю уже третий день, – вдохновенно ответил Персиков.

Затем произошел между двумя учеными разговор, смысл которого сводился к следующему: приват-доцент Иванов берется соорудить при помощи линз и зеркал камеру, в которой можно будет получить этот луч в увеличенном виде и вне микроскопа. Иванов надеется, даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто. Луч он получит, Владимир Ипатьевич может в этом не сомневаться. Тут произошла маленькая заминка.

– Я, Петр Степанович, когда опубликую работу, напишу, что камеры сооружены вами, – вставил Персиков, чувствуя, что заминочку надо разрешить.

– О, это не важно… Впрочем, конечно…

И заминочка тотчас разрешилась. С этого времени луч поглотил и Иванова. В то время, как Персиков, худея и истощаясь, просиживал дни и половину ночей за микроскопом, Иванов возился в сверкающем от ламп физическом кабинете, комбинируя линзу и зеркала. Помогал ему механик.

Из Германии, после запроса через комиссариат просвещения, Персикову прислали три посылки, содержащие в себе зеркала,

двояковыпуклые, двояковогнутые и даже какие-то выпукло–вогнутые шлифованные стекла. Кончилось все это тем, что Иванов соорудил камеру и в нее действительно уловил красный луч. И надо отдать справедливость, уловил мастерски: луч вышел кривой, жирный, сантиметра 4 в поперечнике, острый и сильный.

1-го июня камеру установили в кабинете Персикова, и он жадно начал опыты с икрой лягушек, освещенной лучом. Опыты эти дали потрясающие результаты. В течение двух суток из икринок вылупились тысячи головастиков. Но этого мало, в течение одних суток головастики выросли необычайно в лягушек, и до того злых и прожорливых, что половина их тут же была перелопана другой половиной. Зато оставшиеся в живых начали вне всяких сроков метать икру и в 2 дня уже без всякого луча вывели новое поколение, и при этом совершенно бесчисленное. В кабинете ученого началось черт знает что: головастики расползлись из кабинета по всему институту, в террариях и просто на полу, во всех закоулках завывали зычные хоры, как на болоте. Панкрат, и так боявшийся Персикова как огня, теперь испытывал по отношению к нему одно чувство: мертвенный ужас. Через неделю и сам ученый почувствовал, что шалеет. Институт наполнился запахом эфира и цианистого калия, которым чуть-чуть не отравился Панкрат, не вовремя снявший маску. Разросшееся поколение, наконец, удалось перебить ядами, кабинеты проветрить.

Иванову Персиков сказал так:

– Вы знаете, Петр Степанович, действие луча на дейтероплазму и вообще на яйцеклетку изумительно.

Иванов, холодный и сдержанный джентльмен, перебил профессора необычным тоном:

– Владимир Ипатьевич, что же вы толкуете о мелких деталях, об дейтероплазме. Будем говорить прямо: вы открыли что-то неслыханное, – видимо, с большой потугой, но все же Иванов выдавил из себя слова: – профессор Персиков, вы открыли луч жизни!

Слабая краска показалась на бледных, небритых скулах Персикова.

– Ну-ну-ну, – пробормотал он.

– Вы, – продолжал Иванов, – вы приобретете такое имя… У меня кружится голова. Вы понимаете, – продолжал он страстно, – Владимир Ипатьевич, герои Уэллса по сравнению с вами просто вздор… А я-то думал, что это сказки… Вы помните его «Пищу богов»?

– А, это роман, – ответил Персиков.

– Ну да, господи, известный же!..

– Я забыл его, – ответил Персиков, – помню, читал, но забыл.

– Как же вы не помните, да вы гляньте, – Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом. На морде ее даже после смерти было злобное выражение, – ведь это же чудовищно!

Глава 4. Попадья Дроздова

Бог знает почему, Иванов ли тут был виноват, или потому, что сенсационные известия передаются сами собой по воздуху, но только в гигантской кипящей Москве вдруг заговорили о луче и о профессоре Персикове. Правда, как-то вскользь и очень туманно. Известие о чудодейственном открытии прыгало, как подстреленная птица, в светящейся столице, то исчезая, то вновь взвиваясь, до половины июля, когда на 20-й странице газеты «Известия» под заголовком «Новости науки и техники» появилась короткая заметка, трактующая о луче. Сказано было глухо, что профессор IV университета изобрел луч, невероятно повышающий жизнедеятельность низших организмов, и что луч этот нуждается в проверке. Фамилия, конечно, была переврана и напечатано: «Певсиков».

Иванов принес газету и показал Персикову заметку.

– «Певсиков», – проворчал Персиков, возясь с камерой в кабинете, – откуда эти свистуны все знают?

Увы, перевранная фамилия не спасла профессора от событий, и они начались на другой же день, сразу нарушив всю жизнь Персикова.

Панкрат, предварительно постучавшись, явился в кабинет и вручил Персикову великолепную атласную визитную карточку.

– Он тамотко, – робко прибавил Панкрат.

На карточке было напечатано изящным шрифтом:

Альфред Аркадьевич Бронский

Сотрудник московских журналов «Красный огонек», «Красный перец», «Красный журнал», «Красный прожектор» и газеты «Красная вечерняя газета»

– Гони его к чертовой матери, – монотонно сказал Персиков и смахнул карточку под стол.

Панкрат повернулся и вышел и через пять минут вернулся со страдальческим лицом и со вторым экземпляром той же карточки.

– Ты что же, смеешься? – проскрипел Персиков и стал страшен.

– Из гепею, они говорять, – бледнея, ответил Панкрат.

Персиков ухватился одной рукой за карточку, чуть не

перервал ее пополам, а другой швырнул пинцет на стол. На карточке было написано кудрявым почерком:

Очень прошу и извиняюсь, принять меня, многоуважаемый профессор, на три минуты по общественному делу печати и сотрудник сатирического журнала «Красный ворон», издания ГПУ.

– Позови-ка его сюда, – сказал Персиков и задохнулся.

Из-за спины Панкрата тотчас вынырнул молодой человек с гладковыбритым маслянистым лицом. Поражали вечно поднятые, словно у китайца, брови и под ними ни секунды не глядевшие в глаза собеседнику агатовые глазки. Одет был молодой человек совершенно безукоризненно и модно. В узкий и длинный до колен пиджак, широчайшие штаны колоколом и неестественной ширины лакированные ботинки с носами, похожими на копыта. В руках молодой человек держал трость, шляпу с острым верхом и блокнот.

– Что вам надо? – спросил Персиков таким голосом, что Панкрат мгновенно ушел за дверь. – Ведь вам же сказали, что я занят?

Вместо ответа молодой человек поклонился профессору два раза на левый бок и на правый, а затем его глазки колесом прошлись по всему кабинету, и тотчас молодой человек поставил в блокноте знак.

– Я занят, – сказал профессор, с отвращением глядя в глазки гостя, но никакого эффекта не добился, так как глазки были неуловимы.

– Прошу тысячу раз извинения, глубокоуважаемый профессор, заговорил молодой человек тонким голосом, – что я врываюсь к вам и отнимаю ваше драгоценное время, но известие о вашем мировом открытии, прогремевшее по всему миру, заставляет наш журнал просить у вас каких-либо объяснений.

– Какие такие объяснения по всему миру? – заныл Персиков визгливо и пожелтев. – Я не обязан вам давать объяснения и ничего такого… Я занят… страшно занят.

– Над чем вы работаете? – сладко спросил молодой человек и поставил второй знак в блокноте.

– Да я… вы что? Хотите напечатать что-то?

– Да, – ответил молодой человек и вдруг застрочил в блокноте.

– Во-первых, я не намерен ничего опубликовывать, пока я не кончу работы… тем более в этих ваших газетах… Во-вторых, откуда вы все это знаете?.. – И Персиков вдруг почувствовал, что теряется.

– Верно ли известие, что вы изобрели луч новой жизни?

– Какой такой новой жизни? – остервенился профессор, – Что вы мелете чепуху! Луч, над которым я работаю, еще далеко не исследован, и вообще ничего еще не известно! Возможно, что он повышает жизнедеятельность протоплазмы…

– Во сколько раз? – торопливо спросил молодой человек.

Персиков окончательно потерялся… «Ну тип. Ведь это черт знает что такое!»

– Что за обывательские вопросы?.. Предположим, я скажу, ну, в тысячу раз!..

В глазках молодого человека мелькнула хищная радость.

– Получаются гигантские организмы?

– Да ничего подобного! Ну, правда, организмы, полученные мною, больше обыкновенных… Ну, имеют некоторые новые свойства… Но ведь тут же главное не величие, а невероятная скорость размножения, – сказал на свое горе Персиков и тут же ужаснулся. Молодой человек исписал целую страницу, перелистнул ее и застрочил дальше.

– Вы же не пишите! – уже сдаваясь и чувствуя, что он в руках молодого человека, в отчаянии просипел Персиков. – Что вы такое пишете?

– Правда ли, что в течении двух суток из икры можно получить 2 миллиона головастиков?

– Из какого количества икры? – вновь взбеленяясь, закричал Персиков. – Вы видели когда-нибудь икринку… ну, скажем, – квакши?

– Из полуфунта? – не смущаясь, спросил молодой человек.

Персиков побагровел.

– Кто же так мерит? Тьфу! Что вы такое говорите? Ну, конечно, если взять полфунта лягушачьей икры… тогда пожалуй… черт, ну около этого количества, а, может быть, и гораздо больше!

Бриллианты загорелись в глазах молодого человека, и он в один взмах исчеркал еще одну страницу.

– Правда ли, что это вызовет мировой переворот в животноводстве?

– Что это за газетный вопрос, – завыл Персиков, – и вообще, я не даю вам разрешения писать чепуху. Я вижу по вашему лицу, что вы пишете какую-то мерзость!

– Вашу фотографическую карточку, профессор, убедительнейше прошу, – молвил молодой человек и захлопнул блокнот.

– Что? Мою карточку? Это в ваши журнальчики? Вместе с этой чертовщиной, которую вы там пишете. Нет, нет, нет… И я занят… попрошу вас!..

– Хотя бы старую. И мы вам ее вернем моментально.

– Панкрат! – закричал профессор в бешенстве.

– Честь имею кланяться, – сказал молодой человек и пропал.

Вместо Панкрата послышалось за дверью странное мерное скрипенье машины, кованое постукивание в пол, и в кабинете появился необычайной толщины человек, одетый в блузу и штаны, сшитые из одеяльного драпа. Левая его, механическая, нога щелкала и громыхала, а в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямился, отчего его нога пружинно щелкнула. Персиков онемел.

– Господин профессор, – начал незнакомец приятным сиповатым голосом, – простите простого смертного, нарушившего ваше уединение.

– Вы репортер? – спросил Персиков. – Панкрат!!

– Никак нет, господин профессор, – ответил толстяк, – позвольте представиться – капитан дальнего плавания и сотрудник газеты «Вестник промышленности» при совете народных комиссаров.

– Панкрат!! – истерически закричал Персиков, и тотчас в углу выкинул красный сигнал и мягко прозвенел телефон. – Панкрат! – повторил профессор. – Я слушаю.

– Ферцайен зи битте, герр профессор, – захрипел телефон по-немецки, – дас их штёре. Их бин митарбейтер дес Берлинер тагеблатс [1]…

– Панкрат, – закричал в трубку профессор, – бин моменталь зер бешефтигт унд кан зи десхальб этцт нихт эмпфанген [2]! Панкрат!!

А на парадном входе института в это время начались звонки.

– Кошмарное убийство на Бронной улице!! – завывали неестественные сиплые голоса, вертясь в гуще огней между колесами и вспышками фонарей на нагретой июньской мостовой, – кошмарное появление болезни кур у вдовы попадьи Дроздовой с ее портретом!.. Кошмарное открытие луча жизни профессора Персикова!!.

Персиков мотнулся так, что чуть не попал под автомобиль на Моховой, и яростно ухватился за газету.

– Три копейки, гражданин! – закричал мальчишка и, вжимаясь в толпу на тротуаре, вновь завыл: – «Красная вечерняя газета», открытие икс-луча!!

Ошеломленный Персиков развернул газету и прижался к фонарному столбу. На второй странице в левом углу в смазанной рамке глянул на него лысый, с безумными и незрячими глазами,

с повисшею нижнею челюстью человек, плод художественного творчества Альфреда Бронского. «В.И.Персиков, открывший загадочный красный луч», гласила подпись под рисунком. Ниже под заголовком «Мировая загадка» начиналась статья словами:

Садитесь, – приветливо сказал нам маститый ученый Персиков…

Под статьей красовалась подпись «Альфред Бронский (Алонзо)».

Зеленоватый свет взлетел над крышей университета, на небе выскочили огненные слова «Говорящая газета», и тотчас толпа запрудила Моховую.

«Садитесь!!! – завыл вдруг в рупоре на крыше неприятнейший тонкий голос, совершенно похожий на голос увеличенного в тысячу раз Альфреда Бронского, – приветливо сказал нам маститый ученый Персиков! – Я давно хотел познакомить московский пролетариат с результатами моего открытия…»

Тихое механическое скрипение послышалось за спиною у Персикова и кто-то потянул его за рукав. Обернувшись, он увидал желтое круглое лицо владельца механической ноги. Глаза у того были увлажнены слезами и губы вздрагивали.

– Меня, господин профессор, вы не пожелали познакомить с результатами вашего изумительного открытия, – сказал он печально и глубоко вздохнул. – Пропали мои полтора червячка.

Он тоскливо глядел на крышу университета, где в черной пасти бесновался невидимый Альфред. Персикову почему-то стало жаль толстяка.

– Я, – пробормотал он, с ненавистью ловя слова с неба, – никакого садитесь ему не говорил! Это просто наглец необыкновенного свойства! Вы меня простите, пожалуйста, – но, право же, когда работаешь и врываются… Я не про вас, конечно, говорю…

– Может быть, вы мне, господин профессор, хотя бы описание вашей камеры дадите? – заискивающе и скорбно говорил механический человек. – Ведь вам теперь все равно…

– Из полуфунта икры в течении 3-х дней вылупляется такое количество головастиков, что их нет никакой возможности сосчитать, – ревел невидимка в рупоре.

– Ту-ту, – глухо кричали автомобили на Моховой.

– Го-го-го… Ишь ты, го-го-го – шуршала толпа, задирая головы.

– Каков мерзавец? А? – дрожа от негодования, зашипел Персиков механическому человеку, – как вам это нравится? Да я жаловаться на него буду!

– Возмутительно! – согласился толстяк.

Ослепительнейший фиолетовый луч ударил в глаза профессора, и все кругом вспыхнуло, – фонарный столб, кусок торцовой мостовой, желтая стена, любопытные лица.

– Это вас, господин профессор, – восхищенно шепнул толстяк и повис на рукаве профессора, как гиря. В воздухе что-то заскрежетало.

– А ну их всех к черту! – тоскливо вскричал Персиков, выдираясь с гирей из толпы. – Эй, таксомотор. На Пречистенку!

Облупленная старенькая машина, конструкции 24-го года, заклокотала у тротуара, и профессор полез в ландо, стараясь отцепиться от толстяка.

– Вы мне мешаете, – шипел он и закрывался кулаками от фиолетового света.

– Читали?! Чего оруть?.. Профессора Персикова с детишками зарезали на Малой Бронной!! – кричали кругом в толпе.

– Никаких у меня детишек нету, сукины дети, – заорал Персиков и вдруг попал в фокус черного аппарата, застрелившего его в профиль с открытым ртом и яростными глазами.

– Крх… ту… крх… ту, – закричал таксомотор и врезался в гущу.

Толстяк уже сидел в ландо и грел бок профессору.

Глава 5. Куриная история

В уездном заштатном городке, бывшем Троицке, а ныне Стекловске, Костромской губернии, Стекольного уезда, на крылечко домика на бывшей Соборной, а ныне Персональной улице вышла повязанная платочком женщина в сером платье с ситцевыми букетами и зарыдала. Женщина эта, вдова бывшего соборного протоирея бывшего собора Дроздова, рыдала так громко, что вскорости из домика через улицу в окошко высунулась бабья голова в пуховом платке и воскликнула:

– Что ты, Степановна, али еще?

– Семнадцатая! – разливаясь в рыданиях, ответила бывшая Дроздова.

– Ахти-х-ти-х, – заскулила и закачала головой бабья голова, – ведь это что ж такое? Прогневался господь, истинное слово! Да неужто ж сдохла?

– Да ты глянь, глянь, Матрена, – бормотала попадья, всхлипывая громко и тяжко, – ты глянь, что с ей!

Хлопнула серенькая покосившаяся калитка, бабьи ноги прошлепали по пыльным горбам улицы, и мокрая от слез попадья повела Матрену на свой птичий двор.

Надо сказать, что вдова отца протоирея Савватия Дроздова, скончавшегося в 26-м году от антирелигиозных огорчений, не опустила рук, а основала замечательное куроводство. Лишь только вдовьины дела пошли в гору, вдову обложили таким налогом, что куроводство чуть-чуть не прекратилось, кабы не добрые люди. Они надоумили вдову подать местным властям заявление о том, что она, вдова, основывает трудовую куроводную артель. В состав артели вошла сама Дроздова, верная прислуга ее Матрена и вдовьина глухая племянница. Налог с вдовы сняли, и куроводство ее процвело настолько, что к 28-му году у вдовы на пыльном дворике, окаймленном куриными домишками, ходило до 250 кур, в числе которых были даже кохинхинки. Вдовьины яйца каждое воскресенье появлялись на Стекловском рынке, вдовьиными яйцами торговали в Тамбове, а бывало, что они показывались и в стеклянных витринах магазина бывшего «Сыр и масло Чичкина в Москве».

И вот, семнадцатая по счету с утра брамапутра, любимая хохлатка, ходила по двору и ее рвало. «Эр… рр… урл… урл го-го-го», – выделывала хохлатка и закатывала грустные глаза на солнце так, как будто видела его в последний раз. Перед носом курицы на корточках плясал член артели Матрешка с чашкой воды.

– Хохлаточка, миленькая… Цып-цып-цып… Испей водицы, – умоляла Матрешка и гонялась за клювом хохлатки с чашкой, но хохлатка пить не желала. Она широко раскрывала клюв, задирала голову кверху. Затем ее начинало рвать кровью.

– Господисусе! – вскричала гостья, хлопнув себя по бедрам. – Это что ж такое делается? Одна резаная кровь. Никогда не видала, с места не сойти, чтобы курица, как человек, маялась животом.

Это и были последние напутственные слова бедной хохлатке. Она вдруг кувыркнулась на бок, беспомощно потыкала клювом в пыль и завела глаза. Потом повернулась на спину, обе ноги задрала кверху и осталась неподвижной. Басом заплакала Матрешка, расплескав чашку, и сама попадья – председатель артели, а гостья наклонилась к ее уху и зашептала:

– Степановна, землю буду есть, что кур твоих испортили. Где же это видано! Ведь таких и курьих болезней нет! Это твоих кур кто-то заколдовал.

– Враги жизни моей! – воскликнула попадья к небу. – Что ж они со свету меня сжить хочут?

Словам ее ответил громкий петушиный крик, и затем из курятника выдрался как-то боком, точно беспокойный пьяница из пивного заведения, обдерганный поджарый петух. Он зверски выкатил на них глаз, потоптался на месте, крылья распростер, как орел, но никуда не улетел, а начал бег по двору, по кругу, как лошадь на корде. На третьем круге он остановился, и его стошнило, потом он стал харкать и хрипеть, наплевал вокруг себя кровавых пятен, повернулся, и лапы его уставились к солнцу, как мачты. Женский вой огласил двор. И в куриных домиках ему отвело беспокойное клохтанье, хлопанье и возня.

– Ну, не порча? – победоносно спросила гостья. – Зови отца Сергия, пущай служит.

В шесть часов вечера, когда солнце сидело низко огненною рожею между рожами молодых подсолнухов, на дворе куроводства отец Сергий, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из епитрахили. Любопытные головы людей торчали над древненьким забором и в щелях его. Скорбная попадья, приложившаяся к кресту, густо смочила канареечный рваный рубль слезами и вручила его отцу Сергию, на что тот, вздыхая, заметил что-то насчет того, что вот, мол, господь прогневался на нас. Вид при этом у отца Сергия был такой, что он прекрасно знает, почему именно прогневался господь, но только не скажет.

Засим толпа с улицы разошлась, а так как куры ложатся рано, то никто и не знал, что у соседа попадьи Дроздовой в курятнике

издохло сразу трое кур и петух. Их рвало так же, как и дроздовских кур, но только смерти произошли в запертом курятнике и тихо. Петух свалился с насеста вниз головой и в такой позиции кончился. Что касается кур вдовы, то они прикончились тотчас после молебна и к вечеру в курятниках было мертво и тихо, лежала грудами закоченевшая птица.

На утро город встал, как громом пораженный, потому что история приняла размеры странные и чудовищные. На Персональной улице к полудню осталось в живых только три курицы, в крайнем домике, где снимал квартиру уездный фининспектор, но и те издохли к часу дня. А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел, как улей, и по нем катилось грозное слово «мор». Фамилия Дроздовой попала в местную газету «Красный боец», в статье под заголовком: «Неужели куриная чума?», а оттуда пронеслось в Москву.

Жизнь профессора Персикова приняла окраску странную, беспокойную и волнующую. Одним словом, работать в такой обстановке было просто невозможно. На другой день после того, как он развязался с Альфредом Бронским, ему пришлось выключить у себя в кабинете в институте телефон, снявши трубку, а вечером, проезжая в трамвае по Охотному ряду, профессор увидел самого себя на крыше огромного дома с черною надписью «Рабочая газета». Он, профессор, дробясь, и зеленея, и мигая, лез в ландо такси, а за ним, цепляясь за рукав, лез механический шар в одеяле. Профессор на крыше, на белом экране, закрывался кулаками от фиолетового луча. Засим выскочила огненная надпись:

Профессор Персиков, едучи в авто, дает объяснение нашему знаменитому репортеру капитану Степанову.

И точно: мимо храма Христа, по Волхонке, проскочил зыбкий автомобиль и в нем барахтался профессор, и физиономия у него была, как у затравленного волка.

– Это какие-то черти, а не люди, – сквозь зубы пробормотал зоолог и проехал.

Того же числа вечером, вернувшись к себе на Пречистенку, зоолог получил от экономки, Марьи Степановны, 17 записок с номерами телефонов, кои звонили к нему во время его отсутствия, и словесное заявление Марьи Степановны, что она замучилась. Профессор хотел разодрать записки, но остановился, потому что против одного из номеров увидал приписку: «Народный комиссар здравоохранения».

– Что такое? – искренне недоумевал ученый чудак. – Что с ними такое сделалось?

В 10 с 1/4 того же вечера раздался звонок, и профессор

вынужден был беседовать с неким ослепительным по убранству гражданином. Принял его профессор благодаря визитной карточке, на которой было изображено (без имени и фамилии):

Полномочный шеф торговых отделов иностранных представительств при Республике советов.

– Черт бы его взял, – прорычал Персиков, бросил на зеленое сукно лупу и какие-то диаграммы и сказал Марье Степановне:

– Позовите его сюда, в кабинет, этого самого уполномоченного.

– Чем могу служить? – спросил Персиков таким тоном, что шефа несколько передернуло. Персиков пересадил очки с переносицы на лоб, затем обратно и разглядел визитера. Тот весь светился лаком и драгоценными камнями и в правом глазу у него сидел монокль. «Какая гнусная рожа», почему-то подумал Персиков.

Начал гость издалека, именно попросил разрешения закурить сигару, вследствие чего Персиков с большой неохотой пригласил его сесть. Далее гость произнес длинные извинения по поводу того, что он пришел слишком поздно: «но… господина профессора невозможно днем никак пойма… хи-хи… пардон… застать» (гость, смеясь, всхлипывал, как гиена).

– Да, я занят! – так коротко ответил Персиков, что судорога вторично прошла по гостю.

Тем не менее он позволил себе беспокоить знаменитого ученого:

– Время – деньги, как говорится… сигара не мешает профессору?

– Мур-мур-мур, – ответил Персиков. Он позволил…

– Профессор ведь открыл луч жизни?

– Помилуйте, какой такой жизни?! Это выдумки газетчиков! – оживился Персиков.

– Ах, нет, хи-хи-хи… он прекрасно понимает ту скромность, которая составляет истинное украшение всех настоящих ученых… о чем же говорить… Сегодня есть телеграммы… В мировых городах, как-то: Варшаве и Риге, уже все известно насчет луча. Имя проф. Персикова повторяет весь мир… Весь мир следит за работой проф. Персикова, затаив дыхание… Но всем прекрасно известно, как тяжко положение ученых в советской России. Антр ну суа ди [3]… Здесь никого нет посторонних?.. Увы, здесь не умеют ценить ученые труды, так вот он хотел бы переговорить с профессором… Одно иностранное государство предлагает профессору Персикову совершенно бескорыстно помощь в его лабораторных работах. Зачем здесь метать бисер, как говорится в священном писании. Государству известно, как тяжко профессору

пришлось в 19-м году и 20-м во время этой хи-хи… революции. Ну, конечно, строгая тайна… профессор ознакомит государство с результатами работы, а оно за это финансирует профессора. Ведь он построил камеру, вот интересно было бы ознакомиться с чертежами этой камеры…

И тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака белоснежную пачку бумажек…

Какой-нибудь пустяк, 5000 рублей, например, задатку, профессор может получить сию же минуту… И расписки не надо… Профессор даже обидит полномочного торгового шефа, если заговорит о расписке.

– Вон!!! – вдруг гаркнул Персиков так страшно, что пианино в гостиной издало звук на тонких клавишах.

Гость исчез так, что дрожащий от ярости Персиков через минуту и сам уже сомневался, был ли он или это галлюцинация.

– Его калоши?! – выл через минуту Персиков в передней.

– Они забыли, – отвечала дрожащая Марья Степановна.

– Выкинуть их вон!

– Куда же я их выкину. Они придут за ними.

– Сдать их в домовой кабинет. Под расписку. Чтоб не было духу этих калош! В комитет! Пусть примут шпионские калоши!..

Марья Степановна, крестясь, забрала великолепные калоши и унесла их на черный ход. Там постояла за дверью, а потом калоши спрятала в кладовку.

– Сдали? – бушевал Персиков.

– Сдала.

– Расписку мне.

– Да, Владимир Ипатьевич. Да неграмотный же председатель!..

– Сию. Секунду. Чтоб. Была. Расписка. Пусть за него какой-нибудь грамотный сукин сын распишется!

Марья Степановна только покрутила головой, ушла и вернулась через 1/4 часа с запиской:

«Получено в фонд от проф. Персикова 1 /одна/ па кало. Колесов».

– А это что?

– Жетон-с.

Персиков жетон истоптал ногами, а расписку спрятал под пресс. Затем какая-то мысль омрачила его крутой лоб. Он бросился к телефону, вытрезвонил Панкрата в институте и спросил у него: «Все ли благополучно?». Панкрат нарычал что-то такое в трубку, из чего можно было понять, что, по его мнению, все благополучно. Но Персиков успокоился только на одну минуту. Хмурясь, он уцепился за телефон и наговорил в трубку

такое:

– Дайте мне эту, как ее, Лубянку. Мерси… Кому тут из вас надо сказать… у меня тут какие-то подозрительные субъекты в калошах ходят, да… Профессор IV университета Персиков…

Трубка вдруг резко оборвала разговор, Персиков отошел, ворча сквозь зубы какие-то бранные слова.

– Чай будете пить, Владимир Ипатьевич? – робко осведомилась Марья Степановна, заглянув в кабинет.

– Не буду я пить никакого чаю… мур-мур-мур, и черт их всех возьми… как взбесились все равно.

Ровно через десять минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей. Один из них, приятный, круглый и очень вежливый, был в скромном защитном военном френче и рейтузах. На носу у него сидело, как хрустальная бабочка, пенсне. Вообще он напоминал ангела в лакированных сапогах. Второй, низенький, страшно мрачный, был в штатском, но штатское на нем сидело так, словно оно его стесняло. Третий гость вел себя особенно, он не вошел в кабинет профессора, а остался в полутемной передней. При этом освещенный и пронизанный стручками табачного дыма кабинет был ему насквозь виден. На лице этого третьего, который был тоже в штатском, красовалось дымчатое пенсне.

Двое в кабинете совершенно замучили Персикова, рассматривая визитную карточку, расспрашивая о пяти тысячах и заставляя описывать наружность гостя.

– Да черт его знает, – бубнил Персиков, – ну противная физиономия. Дегенерат.

– А глаз у него не стеклянный? – спросил маленький хрипло.

– А черт его знает. Нет, впрочем, не стеклянный, бегают глаза.

– Рубинштейн? – вопросительно и тихо отнесся ангел к штатскому маленькому. Но тот хмуро и отрицательно покачал головой.

– Рубинштейн не даст без расписки, ни в коем случае, забурчал он, – это не рубинштейнова работа. Тут кто-то покрупнее.

История о калошах вызвала взрыв живейшего интереса со стороны гостей. Ангел молвил в телефон домовой конторы только несколько слов: «Государственное политическое управление сию минуту вызывает секретаря домкома Колесова в квартиру профессора Персикова с калошами», – и Колесов тотчас, бледный, появился в кабинете, держа калоши в руках.

– Васенька! – негромко окликнул ангел того, который сидел в передней. Тот вяло поднялся и словно развинченный плелся в

кабинет. Дымчатые стекла совершенно поглотили его глаза.

– Ну? – спросил он лаконически и сонно.

– Калоши.

Дымные глаза скользнули по калошам, и при этом Персикову почудилось, что из-под стекол вбок, на одно мгновенье, сверкнули вовсе не сонные, а наоборот, изумительно колючие глаза. Но они моментально угасли.

– Ну, Васенька?

Тот, кого называли Васенькой, ответил вялым голосом:

– Ну что тут, ну. Пеленжковского калоши.

Немедленно фонд лишился подарка профессора Персикова. Калоши исчезли в газетной бумаге. Крайне обрадовавшийся ангел во френче встал и начал жать руку профессору, и даже произнес маленький спич, содержание которого сводилось к следующему: это делает честь профессору… Профессор может быть спокоен… Больше никто его не потревожит, ни в институте, ни дома… меры будут приняты, камеры его в совершеннейшей безопасности…

– А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли? – спросил Персиков, глядя поверх очков.

Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый маленький, но даже дымчатый улыбнулся в передней. Ангел, искрясь и сияя, объяснил, что это невозможно.

– А это что за каналья у меня была?

Тут все перестали улыбаться, и ангел ответил уклончиво, что это так, какой-нибудь мелкий аферист, не стоит обращать внимания… тем не менее он убедительно просит гражданина профессора держать в полной тайне происшествие сегодняшнего вечера, и гости ушли.

Персиков вернулся в кабинет, к диаграммам, но заниматься ему все-таки не пришлось. Телефон выбросил огненный кружочек, и женский голос предложил профессору, если он желает жениться на вдове интересной и пылкой, квартиру в семь комнат. Персиков завыл в трубку:

– Я вам советую лечиться у профессора Россолимо… – и получил второй звонок.

Тут Персиков немного обмяк, потому что лицо достаточно известное звонило из Кремля, долго и сочувственно расспрашивало Персикова о его работе и изъявило желание навестить лабораторию. Отойдя от телефона, Персиков вытер лоб и трубку снял. Тогда в верхней квартире загремели страшные трубы и полетели вопли Валкирий, – радиоприемник у директора суконного треста принял вагнеровский концерт в Большом театре. Персиков под вой и грохот, сыплющийся с потолка, заявил Марье Степановне, что он уедет из Москвы, что он будет судиться

с директором, что он сломает ему этот приемник, потому что, очевидно, задались целью его выжить вон. Он разбил лупу и лег спать в кабинете на диване и заснул под нежные переборы клавишей знаменитого пианиста, прилетевшие из Большого театра.

Сюрпризы продолжались и на следующий день. Приехав на трамвае к институту, Персиков застал на крыльце неизвестного ему гражданина в модном зеленом котелке. Тот внимательно оглядел Персикова, но не отнесся к нему ни с какими вопросами, и поэтому Персиков его стерпел. Но в передней института кроме растерянного Панкрата навстречу Персикову поднялся второй котелок и вежливо его приветствовал:

– Здравствуйте, гражданин профессор.

– Что вам надо? – страшно спросил Персиков, сдирая при помощи Панкрата с себя пальто. Но котелок быстро утихомирил Персикова, нежнейшим голосом нашептав, что профессор напрасно беспокоится. Он, котелок, именно затем здесь и находится, чтобы избавить профессора от всяких назойливых посетителей… Что профессор может быть спокоен не только за двери кабинета, но даже и за окна. Засим неизвестный отвернул на мгновение борт пиджака и показал профессору какой-то значок.

– Гм… однако, у вас здорово поставлено дело, – промычал Персиков и прибавил наивно, – а что вы здесь будете есть?

На это котелок усмехнулся и объяснил, что его будут сменять.

Три дня после этого прошли великолепно. Навещали профессора два раза из Кремля, да один раз были студенты, которых Персиков экзаменовал. Студенты порезались все до единого, и по их лицам было видно, что теперь уже Персиков возбуждает в них просто суеверный ужас.

– Поступайте в кондуктора! Вы не можете заниматься зоологией, – неслось из кабинета.

– Строг? – спрашивал котелок у Панкрата.

– У, не приведи бог, – отвечал Панкрат, – ежели какой-нибудь и выдержит, выходит, голубчик, из кабинета и шатается. Семь потов с него сойдет. И сейчас в пивную.

За всеми этими делишками профессор не заметил трех суток, но на четвертые его вновь вернули к действительной жизни, и причиной этого был тонкий и визгливый голос с улицы.

– Владимир Ипатьич! – прокричал голос в открытое окно кабинета с улицы Герцена. Голосу повезло: Персиков слишком переутомился за последние дни. В этот момент он как раз отдыхал, вяло и расслабленно смотрел глазами в красных

кольцах и курил в кресле. Он больше не мог. И поэтому даже с некоторым любопытством выглянул в окно и увидал на тротуаре Альфреда Бронского. Профессор сразу узнал титулованного обладателя карточки по остроконечной шляпе и блокноту. Бронский нежно и почтительно поклонился окну.

– Пару минуточек, дорогой профессор, – заговорил Бронский, напрягая голос, с тротуара, – я только один вопрос и чисто зоологический. Позвольте предложить?

– Предложите, – лаконически и иронически ответил Персиков и подумал: «Все-таки в этом мерзавце есть что-то американское».

– Что вы скажете за кур, дорогой профессор? – крикнул Бронский, сложив руки щитком.

Персиков изумился. Сел на подоконник, потом слез, нажал кнопку и закричал, тыча пальцем в окно:

– Панкрат, впусти этого, с тротуара.

Когда Бронский появился в кабинете, Персиков настолько простер свою ласковость, что рявкнул ему:

– Садитесь!

И Бронский, восхищенно улыбаясь, сел на винтящийся табурет.

– Объясните мне, пожалуйста, – заговорил Персиков, – вы пишите там, в этих ваших газетах?

– Точно так, – почтительно ответил Альфред.

– И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски. Что это за «пара минуточек» и «за кур»? Вы, вероятно, хотели спросить «насчет кур»?

Бронский почтительно рассмеялся:

– Валентин Петрович исправляет.

– Кто это такой Валентин Петрович?

– Заведующий литературной частью.

– Ну, ладно. Я, впрочем, не филолог. В сторону вашего Петровича! Что именно вам желательно знать насчет кур?

– Вообще все, что вы скажете, профессор.

Тут Бронский вооружился карандашом. Победные искры взметнулись в глазах Персикова.

– Вы напрасно обратились ко мне, я не специалист по пернатым. Вам лучше всего было бы обратиться к Емельяну Ивановичу Португалову, в I-м университете. Я лично знаю весьма мало…

Бронский восхищенно улыбнулся, давая понять, что он понял шутку дорогого профессора. «Шутка – мало!» – черкнул он в блокноте.

– Впрочем, если вам интересно, извольте. Куры или гребенчатые… род птиц из отряда куриных. Из семейства

фазановых… – заговорил Персиков громким голосом и глядя не на Бронского, а куда-то в даль, перед ним подразумевались тысяча человек… – из семейства фазановых… фазанидэ. Представляют собою птиц с мясисто-кожным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью… гм… хотя, впрочем, бывает и одна в середине подбородка… Ну, что же еще. Крылья короткие и округленные. Хвост средней длины, несколько ступенчатый, даже, я бы сказал, крышеобразный, средние перья серпообразно изогнуты… Панкрат, принеси из модельного кабинета модель номер 705, разрезной петух… Впрочем, вам это не нужно?.. Панкрат, не приноси модели… Повторяю вам, я не специалист, идите к Португалову. Ну-с, мне лично известно шесть видов дикоживущих кур… Гм… Португалов знает больше… В Индии и на Малайском архипелаге. Например, Банкивский петух или Казинту, он водится в предгорьях Гималаев, по всей Индии, в Ассаме, в Бирме… Вилохвостый петух или Галлюс Вариус на Ломбоке, Сумбаве и Флорес. А на острове Яве имеется замечательный петух Галлюс Энеус, на юго-востоке Индии могу вам рекомендовать очень красивого Зоннератова петуха… Я вам покажу рисунок. Что же касается Цейлона, то на нем мы встречаем петуха Стенли, больше он нигде не водится.

Бронский сидел, вытаращив глаза, и строчил.

– Еще что-нибудь вам сообщить?

– Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней, – тихонечко шепнул Альфред.

– Гм, не специалист я… вы Португалова спросите… А впрочем… Ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриная вошь или пухоед, блохи, куриная холера, крупозно-дифтерийное воспаление слизистых оболочек… Пневмокониоз, туберкулез, куриные парши… мало ли, что может быть… (искры прыгали в глазах Персикова)… отравление, например, бешеницей, опухоли, английская болезнь, желтуха, ревматизм, грибок Ахорион Шенляйни… очень интересная болезнь: при заболевании на гребне образуются маленькие пятна, похожие на плесень…

Бронский вытер пот со лба цветным носовым платком.

– А какая же, по-вашему мнению, профессор, причина теперешней катастрофы?

– Какой катастрофы?

– Как, разве вы не читали, профессор? – удивился Бронский и вытащил из портфеля измятый лист газеты «Известия».

– Я не читаю газет, – ответил Персиков и насупился.

– Но почему же, профессор? – нежно спросил Альфред.

– Потому что они чепуху какую-то пишут, – не задумываясь,

ответил Персиков.

– Но как же, профессор? – мягко шепнул Бронский и развернул лист.

– Что такое? – спросил Персиков и даже поднялся с места. Теперь искры запрыгали в глазах у Бронского. Он подчеркнул острым, лакированным пальцем невероятнейшей величины заголовок через всю страницу газеты «Куриный мор в республике».

– Как? – спросил Персиков, сдвигая на лоб очки…

Глава 6. Москва в июне 1928 года

Она светилась, огни танцевали, гасли и вспыхивали. На театральной площади вертелись белые фонари автобусов, зеленые огни трамваев, над бывшим Мюр и Мерилизом, над десятым надстроенным на него этажом, прыгала электрическая разноцветная женщина, выбрасывая по буквам разноцветные слова: «Рабочий кредит». В сквере против Большого театра, где бил ночью разноцветный фонтан, толкалась и гудела толпа. А над Большим театром гигантский рупор завывал:

– Антикуриные прививки в Лефортовском ветеринарном институте дала блестящие результаты. Количество куриных смертей за сегодняшнее число уменьшилось вдвое.

Затем рупор менял тембр, что-то рычало в нем, над театром вспыхивала и угасала зеленая струя, и рупор жаловался басом:

– Образована чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой в составе наркомздрава, наркомзема, заведующего животноводством товарища Птахи-Поросюка, профессоров Персикова и Португалова… и товарища Рабиновича!.. Новые попытки интервенции!.. – хохотал и плакал как шакал, рупор, – в связи с куриною чумой!

Театральный проезд, Неглинный и Лубянка пылали белыми и фиолетовыми полосами, брызгали лучами, выли сигналами, клубились пылью. Толпы народа теснились у стен у больших листов объявлений, освещенных резкими красными рефлекторами:

Под угрозой тягчайшей ответственности воспрещается населению употреблять в пищу куриное мясо и яйца. Частные торговцы при попытке продажи их на рынках подвергаются уголовной ответственности с конфискацией всего имущества. Все граждане, владеющие яйцами, должны в срочном порядке сдать их в районные отделения милиции.

На крыше «Рабочей газеты» на экране грудой до самого неба лежали куры, и зеленоватые пожарные, дробясь и искрясь, из шлангов поливали их керосином. Затем красные волны ходили по экрану, неживой дым распухал и мотался клочьями, полз струей, выскакивала огненная надпись:

Сожжение куриных трупов на Ходынке

Слепыми дырами глядели среди бешено пылающих витрин магазинов, торгующих до 3 часов ночи, с двумя перерывами на обед и ужин, заколоченные окна под вывесками: «Яичная торговля. За качество гарантия». Очень часто, тревожно завывая, мимо милиционеров проносились шипящие машины с надписью: «Мосздравотдел. Скорая помощь».

– Обожрался еще кто-то гнилыми яйцами, – шуршали в толпе.

В Петровских линиях зелеными и оранжевыми фонарями сиял знаменитый на весь мир ресторан «Ампир», и в нем на столиках, у переносных телефонов, лежали картонные вывески, залитые пятнами ликеров:

По распоряжению – омлета нет. Получены свежие устрицы.

В Эрмитаже, где бусинками жалобно горели китайские фонарики в неживой, задушенной зелени, на убивающей глаза своим пронзительным светом эстраде куплетисты Шрамс и Карманчиков пели куплеты, сочиненные поэтами Ардо и Аргуевым:

Ах, мама, что я буду делать Без яиц?.. – и грохотали ногами в чечетке.

Театр покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году при постановке пушкинского «Бориса Годунова», когда обрушились трапеции с голыми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга «Курий дох» в постановке ученика Мейерхольда, заслуженного режиссера республики Кухтермана. Рядом, в Аквариуме, переливаясь рекламными огнями и блестя полуобнаженным женским телом, в зелени эстрады, под гром аплодисментов, шло обозрение писателя Ленивцева «Курицыны дети». А по Тверской, с фонариками по бокам морд, шли вереницею цирковые ослики, несли на себе сияющие плакаты:

В театре Корш возобновляется «Шантеклэр» Ростана

Мальчишки-газетчики рычали и выли между колес моторов:

– Кошмарная находка в подземелье! Польша готовится к кошмарной войне!!. Кошмарные опыты профессора Персикова!!

В цирке бывшего Никитина, на приятно пахнущей навозом коричневой жирной арене мертвенно-бледный клоун Бом говорил распухшему в клетчатой водянке Биму:

– Я знаю, отчего ты такой печальный!

– Отциво? – пискливо спрашивал Бим.

– Ты зарыл яйца в землю, а милиция 15-го участка их нашла.

– Га-га-га-га, – смеялся цирк так, что в жилах стыла радостно и тоскливо кровь и под стареньким куполом веяли трапеции и паутина.

– А-ап! – пронзительно кричали клоуны, и кормленая белая лошадь выносила на себе чудной красоты женщину, на стройных ногах, в малиновом трико.

Не глядя ни на кого, никого не замечая, не отвечая на подталкивания и тихие и нежные зазывания проституток, пробирался по Моховой, вдохновенный и одинокий, увенчанный неожиданной славой Персиков к огненным часам у манежа. Здесь, не глядя кругом, поглощенный своими мыслями, он столкнулся со странным, старомодным человеком, пребольно ткнувшись пальцами прямо в деревянную кобуру револьвера, висящего у человека на поясе.

– Ах, черт! – пискнул Персиков. – Извините.

– Извиняюсь, – ответил встречный неприятным голосом, и кое-как они расцепились в людской каше. И профессор, направляясь на Пречистенку, тотчас забыл о столкновении.

Глава 7. Рокк

Неизвестно, точно ли хороши были лефортовские ветеринарные прививки, умелы ли заградительные самарские отряды, удачны ли крутые меры, принятые по отношению к скупщикам яиц в Калуге и Воронеже, успешно ли работала чрезвычайная московская комиссия, но хорошо известно, что через две недели после последнего свидания Персикова с Альфредом в смысле кур в Союзе республик было совершенно чисто. Кое-где в двориках уездных городков валялись куриные сиротливые перья, вызывая слезы на глазах, да в больницах попадались последние из жадных, доканчивая кровавый понос со рвотой. Людских смертей, к счастью, на всю республику было не более тысячи. Больших беспорядков тоже не последовало. Обьявился было, правда, в Волоколамске пророк, возвестивший, что падеж кур вызван ни кем иным как комиссарами, но особого успеха не имел. На волоколамском базаре побили нескольких милиционеров, отнимавших кур у баб, да выбили стекла в местном почтово-телеграфном отделении. По счастью, расторопные волоколамские власти приняли меры, в результате которых, во-первых, пророк прекратил свою деятельность, во-вторых, стекла на телеграфе вставили.

Дойдя на севере до Архангельска и Сюмкина Выселка, мор остановился сам собой по той причине, что идти ему было дальше некуда, – в Белом море, как известно, куры не водятся. Остановился он и во Владивостоке, ибо далее был океан. На далеком юге – пропал и затих где-то в выжженых пространствах Ордубата, Джудьбы и Карабулака, а на западе удивительным образом задержался как раз на польской и румынской границах. Климат, что ли, там был иной или сыграли роль заградительные кордонные меры, принятые соседними правительствами, но факт тот, что мор дальше не пошел. Заграничная пресса жадно обсуждала неслыханный в истории падеж, а правительство советских республик, не поднимая никакого шума, работало не покладая рук. Чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой переименовалась в чрезвычайную комиссию по поднятию и возрождению куроводства в республике, пополнилась новой чрезвычайной тройкой, в составе шестнадцати товарищей. Был основан «Доброкур», почетными товарищами председателя в который вошли Персиков и Португалов. В газетах под их портретами появились заголовки: «Массовая закупка яиц за границей» и «Господин Юз хочет сорвать яичную компанию». Прогремел на всю Москву ядовитый фельетон журналиста

Колечкина, заканчивающийся словами:

Не зарьтесь, господин Юз, на наши яйца, – у вас есть свои!

Профессор Персиков совершенно измучился и заработался в последние три недели. Куриные события выбили его из колеи и навалили на него двойную тяжесть. Целыми вечерами ему приходилось работать в заседании куриных комиссий и время от времени выносить длинные беседы то с Альфредом Бронским, то с механическим толстяком. Пришлось вместе с профессором Португаловым и приват-доцентом Ивановым и Борнгартом анатомировать и микроскопировать кур в поисках бациллы чумы и даже в течение трех вечеров на скорую руку написать брошюру: «Об изменениях печени у кур при чуме».

Работал Персиков без особого жара в куриной области, да оно и понятно, – вся его голова была полна другим – основным и важным – тем, от чего его оторвала куриная катастрофа, т. е. от красного луча. Расстраивая здоровье, урывая часы у сна и еды, порою не возвращаясь на Пречистенку, а засыпая на клеенчатом диване в кабинете института, Персиков ночи напролет возился у камеры и микроскопа.

К концу июля гонка несколько стихла. Дела переименованной комиссии вошли в нормальное русло, и Персиков вернулся к нарушенной работе. Микроскопы были заряжены новыми препаратами, в камере под лучом зрела со сказочной быстротой рыбья и лягушачья икра. Из Кенигсберга на аэроплане привезли специально заказанные стекла, и в последних числах июля, под наблюдением Иванова, механики соорудили две новых больших камеры, в которых луч достигал у основания ширины папиросной коробки, а в раструбе – целого метра. Персиков радостно потер руки и начал готовиться к каким-то таинственным и сложным опытам. Прежде всего, он по телефону сговорился с народным комиссаром просвещения, и трубка наквакала ему самое любезное и всяческое содействие, а затем Персиков по телефону же вызвал товарища Птаху-Поросюка, заведующего отделом животноводства при верховной комиссии. Встретил Персиков со стороны Птахи самое теплое внимание. Дело шло о большом заказе за границей для профессора Персикова. Птаха сказал в телефон, что он тотчас телеграфирует в Берлин и Нью-Йорк. После этого из Кремля осведомились, как у Персикова идут дела, и важный и ласковый голос спросил, не нужен ли Персикову автомобиль?

– Нет, благодарю вас. Я предпочитаю ездить в трамвае, – ответил Персиков.

– Но почему же? – спросил таинственный голос и снисходительно усмехнулся.

С Персиковым все вообще разговаривали или с почтением и ужасом, или же ласково усмехаясь, как маленькому, хоть и крупному ребенку.

– Он быстрее ходит, – ответил Персиков, после чего звучный басок в телефон ответил:

– Ну, как хотите.

Прошла еще неделя, причем Персиков, все более отдаляясь от затихающих куриных вопросов, всецело погрузился в изучение луча. Голова его от бессонных ночей и переутомления стала светла, как бы прозрачна и легка. Красные кольца не сходили теперь с его глаз, и почти всякую ночь Персиков ночевал в институте… Один раз он покинул зоологическое прибежище, чтобы в громадном зале Цекубу на Пречистенке сделать доклад о своем луче и о действии его на яйцеклетку. Это был гигантский триумф зоолога-чудака. В колонном зале от всплеска рук что-то сыпалось и рушилось с потолков и шипящие дуговые трубки заливали светом черные смокинги цекубистов и белые платья женщин. На эстраде, рядом с кафедрой, сидела на стеклянном столе, тяжко дыша и серея, на блюде влажная лягушка величиною с кошку. На эстраду бросали записки. В числе их было семь любовных, и их Персиков разорвал. Его силой вытаскивал на эстраду представитель Цекубу, чтобы кланяться. Персиков кланялся раздраженно, руки у него были потные, мокрые, и черный галстук сидел не под подбородком, а за левым ухом. Перед ним в дыхании и в тумане были сотни желтых лиц и мужских белых грудей, и вдруг желтая кобура пистолета мелькнула и пропала где-то за белой колонной. Персиков ее смутно заметил и забыл. Но, уезжая после доклада, спускаясь по малиновому ковру лестницы, он вдруг почувствовал себя нехорошо. На миг заслонило черным яркую люстру в вестибюле, и Персикову стало смутно, тошновато… Ему почудилась гарь, показалось, что кровь течет у него липко и жарко по шее… И дрожащею рукой схватился профессор за перила.

– Вам нехорошо, Владимир Ипатьевич? – набросились со всех сторон встревоженные голоса.

– Нет, нет, – ответил Персиков, оправляясь, – просто я переутомился… да… Позвольте мне стакан воды.

Был очень солнечный августовский день. Он мешал профессору, поэтому шторы были опущены. Один гибкий на ножке рефлектор бросал пучок острого света на стеклянный стол, заваленный инструментами и стеклами. Отвалив спинку винтящегося кресла, Персиков в изнеможении курил и сквозь полосы дыма смотрел мертвыми от усталости, но довольными глазами в приоткрытую дверь камеры, где, чуть подогревая и без

того душный и нечистый воздух в кабинете, тихо лежал красный сноп луча.

В дверь постучали.

– Ну? – спросил Персиков.

Дверь мягко скрипнула, и вошел Панкрат. Он сложил руки по швам и, бледнея от страха перед божеством, сказал так:

– Там до вас, господин профессор, Рокк пришел.

Подобие улыбки показалось на щеках ученого. Он сузил глазки и молвил:

– Это интересно. Только я занят.

– Они говорят, что с казенной бумагой с Кремля.

– Рок с бумагой? Редкое сочетание, – вымолвил Персиков и добавил, – ну-ка, давай его сюда!

– Слушаю-с, – ответил Панкрат и как уж исчез за дверью.

Через минуту она скрипнула опять, и появился на пороге человек. Персиков скрипнул на винте и уставился в пришедшего поверх очков через плечо. Персиков был слишком далек от жизни, он ею не интересовался, но тут даже Персикову бросилась в глаза основная и главная черта вошедшего человека. Он был страшно старомоден. В 1919 году этот человек был бы совершенно уместен на улицах столицы, он был бы терпим в 1924 году, в начале его, но в 1928 году он был странен. В то время, как наиболее даже отставшая часть пролетариата – пекаря – ходили в пиджаках, когда в Москве редкостью был френч – старомодный костюм, оставленный окончательно в конце 1924 года, на вошедшем была кожаная двубортная куртка, зеленые штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на боку огромный старой конструкции пистолет маузер в желтой кобуре. Лицо вошедшего произвело на Персикова то же впечатление, что и на всех – крайне неприятное впечатление. Маленькие глазки сомтрели на весь мир изумленно и в то же время уверенно, что-то развязное было в коротких ногах с плоскими ступнями. Лицо иссиня-бритое. Персиков сразу нахмурился. Он безжалостно похрипел винтом и, глядя на вошедшего уже не поверх очков, а сквозь них, молвил:

– Вы с бумагой? Где же она?

Вошедший, видимо, был ошеломлен тем, что увидел. Вообще он был мало способен смущаться, но тут смутился. Судя по глазкам, его поразил прежде всего шкап в 12 полок, уходивший в потолок и битком набитый книгами. Затем, конечно, камеры, в которых, как в аду, мерцал малиновый, разбухший в стеклах луч. И сам Персиков в полутьме у острой иглы луча, выпадавшего из рефлектора, был достаточно странен и величественен в винтовом кресле. Пришелец вперил в него взгляд, в котором явственно прыгали искры почтения сквозь самоуверенность, никакой бумаги

не подал, а сказал:

– Я Александр Семенович Рокк!

– Ну-с? Так что?

– Я назначен заведующим показательным совхозом «Красный луч», – пояснил пришлый.

– Ну-с?

– И вот к вам, товарищ, с секретным отношением.

– Интересно было бы узнать. Покороче, если можно.

Пришелец расстегнул борт куртки и высунул приказ, напечатанный на великолепной плотной бумаге. Его он протянул Персикову. А затем без приглашения сел на винтящийся табурет.

– Не толкните стол, – с ненавистью сказал Персиков.

Пришелец испуганно оглянулся на стол, на дальнем краю которого в сыром темном отверстии мерцали безжизненно, как изумруды, чьи-то глаза. Холодом веяло от них.

Лишь только Персиков прочитал бумагу, он поднялся с табурета и бросился к телефону. Через несколько секунд он уже говорил торопливо и в крайней степени раздражения:

– Простите… Я не могу понять… Как же так? Я… без моего согласия, совета… Да ведь он черт знает что наделает!!

Тут незнакомец повернулся крайне обиженно на табурете.

– Извиняюсь, – начал он, – я завед…

Но Персиков махнул на него крючочком и продолжал:

– Извините, я не могу понять… Я, наконец, категорически протестую. Я не даю своей санкции на опыты с яйцами… Пока я сам не попробую их…

Что-то квакало и постукивало в трубке, и даже издали было понятно, что голос в трубке, снисходительный, говорит с малым ребенком. Кончилось тем, что багровый Персиков с громом повесил трубку и мимо нее в стену сказал:

– Я умываю руки.

Он вернулся к столу, взял с него бумагу, прочитал ее раз сверху вниз поверх очков, затем снизу вверх сквозь очки, и вдруг взвыл:

– Панкрат!

Панкрат появился в дверях, как будто поднялся по трапу в опере. Персиков глянул на него и рявкнул:

– Выйди вон, Панкрат!

И Панкрат, не выразив на своем лице ни малейшего изумления, исчез.

Затем Персиков повернулся к пришельцу и заговорил:

– Извольте-с… Повинуюсь. Не мое дело. Да мне и неинтересно.

Пришельца профессор не столько обидел, сколько изумил.

– Извиняюсь, – начал он, – вы же, товарищ?..

– Что вы все товарищ да товарищ… – хмуро пробубнил Персиков и смолк.

«Однако», – написалось на лице у Рокка.

– Изви…

– Так вот-с, пожалуйста, – перебил Персиков, – вот дуговой шар. От него вы получаете путем передвижения окуляра, – Персиков щелкнул крышкой камеры, похожей на фотографический аппарат, – пучок, который вы можете собрать путем передвижения объективов, вот № 1… и зеркало № 2, – Персиков погасил луч, опять зажег его на полу асбестовой камеры, – а на полу в луче можете разложить все, что вам нравится, и делать опыты. Чрезвычайно просто, не правда ли?

Персиков хотел выразить иронию и презрение, но пришелец их не заметил, внимательно блестящими глазками всматриваясь в камеру.

– Только предупреждаю, – продолжал Персиков, – руки не следует совать в луч, потому что, по моим наблюдениям, он вызывает разрастание эпителия… А злокачественны они или нет, я, к сожалению, еще не мог установить.

Тут пришелец проворно спрятал свои руки за спину, уронив кожаный картуз, и поглядел на профессора. Его руки были насквозь прожжены йодом, а правая у кисти забинтована.

– А как же вы, профессор?

– Можете купить резиновые перчатки у Швабе на Кузнецком, раздраженно ответил профессор. – Я не обязан об этом заботиться.

Тут Персиков посмотрел на пришельца словно в лупу.

– Откуда вы взялись? Вообще… Почему вы?..

Рокк, наконец, обиделся сильно.

– Извини…

– Ведь нужно же знать, в чем дело!.. Почему вы уцепились за этот луч?..

– Потому, что это величайшей важности дело…

– Ага. Величайшей? Тогда… Панкрат!

И когда Панкрат появился:

– Погоди, Панкрат, я подумаю.

И Панкрат покорно исчез.

– Я, – говорил Персиков, – не могу понять вот чего: почему нужна такая спешность и секрет?

– Вы, профессор, меня уже сбили с панталыку, – ответил Рокк, – вы же знаете, что куры издохли все до единой.

– Ну так что же из этого? – завопил Персиков, – что же вы хотите их воскресить моментально, что ли? И почему при помощи

еще не изученного луча?

– Товарищ профессор, – ответил Рокк, – вы меня, честное слово, сбиваете. Я вам говорю, что нам необходимо возобновить у себя куроводство, потому что за границей пишут про нас всякие гадости. Да.

– И пусть себе пишут…

– Ну, знаете, – загадочно ответил Рокк и покрутил головой.

– Кому, желал бы я знать, пришла в голову мысль растить кур из яиц…

– Мне, – ответил Рокк.

– Угу… Тэк-с… А почему, позвольте узнать? Откуда вы узнали о свойствах луча?

– Я, профессор, был на вашем докладе.

– Я с яйцами еще не делал!.. Только собираюсь!

– Ей-богу, выйдет, – убедительно вдруг и задушевно сказал Рокк, – ваш луч такой знаменитый, что хоть слонов можно вырастить, не только цыплят.

– Знаете что, – молвил Персиков, – вы не зоолог? Нет? Жаль… Из вас вышел бы очень смелый экспериментатор… Да… только вы рискуете… получить неудачу… и только у меня отнимаете время…

– Мы вам вернем камеры. Что значит?

– Когда?

– Да вот, я выведу первую партию.

– Как вы это уверенно говорите! Хорошо-с. Панкрат!

– У меня есть с собой люди, – сказал Рокк, – и охрана…

К вечеру кабинет Персикова осиротел… Опустели столы. Люди Рокка увезли три большие камеры, оставив профессору только первую, его маленькую, с которой он начинал опыты.

Надвигались июльские сумерки, серость овладела институтом, потекла по коридорам. В кабинете слышались монотонные шаги – это Персиков, не зажигая огня, мерил большую комнату от окна к дверям… Странное дело: в этот вечер необъяснимо тоскливое настроение овладело людьми, населяющими институт, и животными. Жабы почему-то подняли особенно тоскливый концерт и стрекотали зловеще и предостерегающе. Панкрату пришлось ловить в коридорах ужа, который ушел из своей камеры, и когда он его поймал, вид у ужа был такой, словно тот собирался куда глаза глядят, лишь бы только уйти.

В глубоких сумерках прозвучал звонок из кабинета Персикова. Панкрат появился на пороге. И увидал странную картину. Ученый стоял одиноко посреди кабинета и глядел на столы. Панкрат кашлянул и замер.

– Вот, Панкрат, – сказал Персиков и указал на опустевший стол.

Панкрат ужаснулся. Ему показалось, что глаза у профессора в сумерках заплаканы. Это было так необыкновенно, так страшно.

– Так точно, – плаксиво ответил Панкрат и подумал: «Лучше б ты уж наорал на меня!»

– Вот, – повторил Персиков, и губы у него дрогнули точно так же, как у ребенка, у которого отняли ни с того, ни с сего любимую игрушку.

– Ты знаешь, дорогой Панкрат, – продолжал Персиков, отворачиваясь к окну, – жена-то моя, которая уехала пятнадцать лет назад, в оперетку она поступила, а теперь умерла, оказывается… Вот история, Панкрат милый… Мне письмо прислали…

Жабы кричали жалобно, и сумерки одевали профессора, вот она… ночь. Москва… где-то какие-то белые шары за окнами загорались… Панкрат, растерявшись, тосковал, держа от страха руки по швам…

– Иди, Панкрат, – тяжело вымолвил профессор и махнул рукой, – ложись спать, миленький, голубчик, Панкрат.

И наступила ночь. Панкрат выбежал из кабинета почему-то на цыпочках, пробежал в свою каморку, разрыл тряпье в углу, вытащил из-под него початую бутылку русской горькой и разом выхлюпнул около чайного стакана. Закусил хлебом с солью, и глаза его несколько повеселели.

Поздним вечером, уже ближе к полуночи, Панкрат, сидя босиком на скамье в скупо освещенном вестибюле, говорил бессонному дежурному котелку, почесывая грудь под ситцевой рубахой.

– Лучше б убил, ей бо…

– Неужто плакал? – с любопытством спрашивал котелок.

– Ей… бо… – уверял Панкрат.

– Великий ученый, – согласился котелок, – известно, лягушка жены не заменит.

– Никак, – согласился Панкрат.

Потом он подумал и добавил:

– Я свою бабу подумываю выписать сюды… Чего ей в самом деле в деревне сидеть. Только она гадов этих не выносит нипочем…

– Что говорить, пакость ужаснейшая, – согласился котелок.

Из кабинета ученого не слышно было ни звука. Да и света в нем не было. Не было полоски под дверью.

Глава 8. История в совхозе

Положительно нет прекраснее времени, нежели зрелый август в Смоленской хотя бы губернии. Лето 1928 года было, как известно, отличнейшее, с дождями весной вовремя, с полным жарким солнцем, с отличным урожаем… Яблоки в бывшем имении Шереметевых зрели… леса зеленели, желтизной квадратов лежали поля… Человек-то лучше становится на лоне природы. И не так уж неприятен показался бы Александр Семенович, как в городе. И куртки противной на нем не было. Лицо его медно загорело, ситцевая расстегнутая рубашка показывала грудь, поросшую густейшим черным волосом, на ногах были парусиновые штаны. И глаза его успокоились и подобрели.

Александр Семенович оживленно сбежал с крыльца с колоннадой, на коей была прибита вывеска под звездой: «Совхоз «Красный луч»», и прямо к автомобилю-полугрузовичку, привезшему три черных камеры под охраной.

Весь день Александр Семенович хлопотал со своими помощниками, устанавливая камеры в бывшем зимнем саду – оранжерее Шереметевых… К вечеру все было готово. Под стеклянным потолком загорелся белый матовый шар, на кирпичах устанавливали камеры, и механик, приезжавший с камерами, пощелкав и повертев блестящие винты, зажег на асбестовом полу в черных ящиках красный таинственный луч.

Александр Семенович хлопотал, сам влезал на лестницу, проверяя провода.

На следующий день вернулся со станции тот же полугрузовичок и выплюнул три ящика, великолепной гладкой фанеры, кругом оклеенной ярлыками и белыми по черному надписями:

Vorsicht!! Eier!!

Осторожно: яйца!!

– Что же так мало прислали? – удивился Александр Семенович, однако тотчас захлопотался и стал распаковывать яйца. Распаковывание происходило все в той же оранжерее и принимали в нем участие: сам Александр Семенович; его необыкновенной толщины жена Маня; кривой бывший садовник бывших Шереметевых, а ныне служащий в совхозе на универсальной должности сторожа; охранитель, обреченный на житье в совхозе; и уборщица Дуня. Это не Москва, и все здесь носило более простой, семейный и дружественный характер. Александр Семенович распоряжался, любовно посматривая на

ящики, выглядевшие таким солидным компактным подарком, под нежным закатным светом верхних стекол оранжереи. Охранитель, винтовка которого мирно дремала у дверей, клещами взламывал скрепы и металлические обшивки. Стоял треск… Сыпалась пыль. Александр Семенович, шлепая сандалиями, суетился возле ящиков.

– Вы потише, пожалуйста, – говорил он охранителю. – Осторожнее. Что же вы, не видите – яйца?

– Ничего, – хрипел уездный воин, буравя, – сейчас…

Тр-р-р… и сыпалась пыль.

Яйца оказались упакованными превосходно: под деревянной крышкой был слой парафиновой бумаги, затем промокательной, затем следовал плотный слой стружек, затем опилки, и в них замелькали белые головки яиц.

– Заграничной упаковочки, – любовно говорил Александр Семенович, роясь в опилках, – это вам не то, что у нас. Маня, осторожнее, ты их побьешь.

– Ты, Александр Семенович, сдурел, – отвечала жена, – какое золото, подумаешь. Что я, никогда яиц не видала? Ой!.. какие большие!

– Заграница, – говорил Александр Семенович, выкладывая яйца на деревянный стол, – разве это наши мужицкие яйца… Все, вероятно, брамапутры, черт их возьми, немецкие…

– Известное дело, – подтвердил охранитель, любуясь яйцами.

– Только не понимаю, чего они грязные, – говорил задумчиво Александр Семенович… – Маня, ты присматривай. Пускай дальше выгружают, а я иду на телефон.

И Александр Семенович отправился на телефон в контору совхоза через двор.

Вечером в кабинете зоологического института затрещал телефон. Профессор Персиков взъерошил волосы и подошел к аппарату.

– Ну? – спросил он.

– С вами сейчас будет говорить провинция, – тихо с шипением отозвалась трубка женским голосом.

– Ну. Слушаю, – брезгливо спросил Персиков в черний рот телефона. В том что-то щелкало, а затем дальний мужской голос сказал в ухо встревоженно:

– Мыть ли яйца, профессор?

– Что такое? Что? Что вы спрашиваете? – раздражился Персиков. – Откуда говорят?

– Из Никольского, Смоленской губернии, – ответила трубка.

– Ничего не понимаю. Никакого Никольского не знаю. Кто это?

– Рокк, – сурово сказала трубка.

– Какой Рокк? Ах, да… это вы… так что вы спрашиваете?

– Мыть ли их?.. прислали из-за границы мне партию куриных яиц…

– Ну?

– А они в грязюке в какой-то…

– Что-то вы путаете… Как они могут быть в «грязюке», как вы выражаетесь? Ну, конечно, может быть немного… помет присох… или что-нибудь еще…

– Так не мыть?

– Конечно, не нужно… Вы, что, хотите уже заряжать яйцами камеры?

– Заряжаю. Да, – ответила трубка.

– Гм, – хмыкнул Персиков.

– Пока, – цокнула трубка и стихла.

– «Пока», – с ненавистью повторил Персиков приват-доценту Иванову, – как вам нравится этот тип, Петр Степанович?

– Это он? Воображаю, что он там напечет из этих яиц.

– Д… д… д… – заговорил Персиков злобно. – Вы вообразите, Петр Степанович… Ну, прекрасно… очень возможно, что на дейтероплазму куриного яйца луч окажет такое же действие, как и на плазму голых. Очень возможно, что куры у него вылупятся… Но, ведь, ни вы, ни я не можем сказать, какие это куры будут… может быть, они ни к черту негодные куры. Может быть, они подохнут через два дня. Может быть, их есть нельзя! А разве я поручусь, что они будут стоять на ногах. Может быть, у них кости ломкие. – Персиков вошел в азарт и махал ладонью и загибал пальцы.

– Совершенно верно, – согласился Иванов.

– Вы можете поручиться, Петр Степанович, что они дадут поколение? Может быть, этот тип выведет стерильных кур. Догонит их до величины собаки, а потомства от них жди потом до второго пришествия.

– Нельзя поручиться, – согласился Иванов.

– И какая развязность, – расстраивал сам себя Персиков, – бойкость какая-то! И, ведь, заметьте, что этого прохвоста мне же поручили инструктировать. – Персиков указал на бумагу, доставленную Рокком (она валялась на экспериментальном столе)… – а как я его буду, этого невежду, инструктировать, когда я сам по этому вопросу ничего сказать не могу.

– А отказаться нельзя было? – спросил Иванов.

Персиков побагровел, взял бумагу и показал ее Иванову. Тот прочел ее и иронически усмехнулся.

– М-да… – сказал он многозначительно.

– И, ведь, заметьте… Я своего заказа жду два месяца и о нем ни слуху, ни духу. А этому моментально и яйца прислали и вообще всяческое содействие…

– Ни черта у него не выйдет, Владимир Ипатьевич. И просто кончится тем, что вернут нам камеры.

– Да если бы скорее, а то ведь они же мои опыты задерживают.

– Да вот это скверно. У меня все готово.

– Вы скафандры получили?

– Да, сегодня утром.

Персиков несколько успокоился и оживился.

– Угу… Я думаю, мы так сделаем. Двери операционной можно будет наглухо закрыть, а окно мы откроем…

– Конечно, – согласился Иванов.

– Три шлема?

– Три. Да.

– Ну вот-с… Вы, стало быть, я и кого-нибудь из студентов можно назвать. Дадим ему третий шлем.

– Гринмута можно.

– Это который у вас сейчас с саламандрами работает?.. гм… он ничего… хотя, позвольте, весной он не мог сказать, как устроен плавательный пузырь у голозубых, – злопамятно добавил Персиков.

– Нет, он ничего… Он хороший студент, – заступился Иванов.

– Придется уж не поспать одну ночь, – продолжал Персиков, – только вот что, Петр Степанович, вы проверьте газ, а то черт их знает, эти доброхимы ихние. Пришлют какую-нибудь гадость.

– Нет, нет, – и Иванов замахал руками, – вчера я уже пробовал. Нужно отдать им справедливость, Владимир Ипатьевич, превосходный газ.

– Вы на ком пробовали?

– На обыкновенных жабах. Пустишь струйку – мгновенно умирают. Да, Владимир Ипатьевич, мы еще так сделаем. Вы напишите отношение в Гепеу, чтобы вам прислали электрический револьвер.

– Да я не умею с ним обращаться…

– Я на себя беру, – ответил Иванов, – мы на Клязьме из него стреляли, шутки ради… там один гепеур со мной жил… Замечательная штука. И просто чрезвычайно… Бьет бесшумно, шагов на сто и наповал. Мы в ворон стреляли… По-моему, даже и газа не нужно.

– Гм… – это остроумная идея… Очень. – Персиков пошел в угол, взял трубку и квакнул…

– Дайте-ка мне эту, как ее… Лубянку…

Дни стояли жаркие до чрезвычайности. Над полями было ясно видно, как переливается прозрачный, жирный зной. А ночи чудные, обманчивые, зеленые. Луна светила и такую красоту навела на бывшее именье Шереметевых, что ее невозможно выразить. Дворец-совхоз, словно сахарный, светился, в парке тени дрожали, а пруды стали двухцветными пополам – косяком лунный столб, а половина бездонная тьма. В пятнах луны можно было свободно читать «Известия», за исключением шахматного отдела, набранного мелкой нонпарелью. Но в такие ночи никто «Известия», понятное дело, не читал… Дуня-уборщица оказалась в роще за совхозом и там же оказался, вследствие совпадения, рыжеусый шофер потрепанного совхозовского грузовичка. Что они там делали – неизвестно. Приютились они в непрочной тени вяза, прямо на разостланном пальто шофера. В кухне горела лампочка, там ужинали два огородника, а мадам Рокк в белом капоте сидела на колонной веранде и мечтала, глядя на красавицу-луну.

В 10 часов вечера, когда замолкли звуки в деревне Концовке, расположенной за совхозом, идиллический пейзаж огласился прелестными нежными звуками флейты. Выразить немыслимо, до чего они были уместны над рощами и бывшими колоннами шереметевского дворца. Хрупкая трель из «Пиковой дамы» смешала в дуэте свой голос с голосом страстной Полины и унеслась в лунную высь, как видение старого и все-таки бесконечно милого, до слез очаровывающего режима.

– Угасают… Угасают… – свистала, переливая и вздыхая, флейта.

Замерли рощи, и Дуня, гибельная, как лесная русалка, слушала, приложив щеку к жесткой, рыжей и мужественной щеке шофера.

– А хорошо дудит, сукин сын, – сказал шофер, обнимая Дуню за талию мужественной рукой.

Играл на флейте сам заведующий совхозом Александр Семенович Рокк, и играл, нужно отдать ему справедливость, превосходно. Дело в том, что некогда флейта была специальностью Александра Семеновича. Вплоть до 1917 года он служил в известном концертном ансамбле маэстро Петухова, ежевечерно оглашавшем стройными звуками фойе уютного кинематографа «Волшебные грезы» в городе Екатеринославле. Но великий 1917 год, переломивший карьеру многих людей, и Александра Семеновича повел по новым путям. Он покинул «Волшебные грезы» и пыльный звездный сатин в фойе и бросился в открытое море войны и революции, сменив флейту на губительный маузер. Его долго швыряло по волнам,

неоднократно выплескивая то в Крыму, то в Москве, то в Туркестане, то даже во Владивостоке. Нужна была именно революция, чтобы вполне выявить Александра Семеновича. Выяснилось, что этот человек положительно велик, и, конечно, не в фойе «Грез» ему сидеть. Не вдаваясь в долгие подробности, скажем, что последний 1927 и начало 1928-го года застали Александра Семеновича в Туркестане, где он, во-первых, редактировал огромную газету, а засим, как местный член высшей хозяйственной комиссии, прославился своими изумительными работами по орошению туркестанского края. В 1928 году Рокк прибыл в Москву и получил вполне заслуженный отдых. Высшая комиссия той организации, билет которой с честью носил в кармане провинциально-старомодный человек, сменила его и назначила ему должность спокойную и почетную. Увы! Увы! На горе республике кипучий мозг Александра Семеновича не потух, в Москве Рокк столкнулся с изобретением Персикова и в номерах на Тверской «Красный Париж» родилась у Александра Семеновича идея, как при помощи луча Персикова возродить в течение месяца кур в республике. Рокка выслушали в комиссии животноводства, согласились с ним, и Рокк пришел с плотной бумагой к чудаку зоологу.

Концерт над стеклянными водами и рощами и парком уже шел к концу, как вдруг произошло нечто, которое прервало его раньше времени. Именно, в Концовке собаки, которым по времени уже следовало бы спать, подняли вдруг невыносимый лай, который постепенно перешел в общий мучительный вой. Вой, разрастаясь, полетел по полям, и вою вдруг ответил трескучий в миллион голосов концерт лягушек на прудах. Все это было так жутко, что показалось даже на мгновенье, будто померкла таинственная колдовская ночь.

Александр Семенович оставил флейту и вышел на веранду.

– Маня, ты слышишь!? Вот проклятые собаки… Чего они, как ты думаешь, разбесились?

– Откуда я знаю? – ответила Маня, глядя на луну.

– Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на яички, – предложил Александр Семенович.

– Ей-богу, Александр Семенович, ты совсем помешался со своими яйцами и курами. Отдохни ты немножко!

– Нет, Манечка, пойдем.

В оранжерее горел яркий шар. Пришла и Дуня с горящим лицом и блестящими глазами. Александр Семенович нежно открыл контрольные стекла, и все стали поглядывать внутрь камер. На белом асбестовом полу лежали правильными рядами испещренные пятнами ярко-красные яйца, в камерах было

беззвучно… а шар вверху в 15000 свечей тихо шипел.

– Эх, выведу я цыпляток! – с энтузиазмом говорил Александр Семенович, заглядывая то с боку в контрольные прорези, то сверху, через широкие вентиляционные отверстия, – вот увидите… Что? Не выведу?

– А вы знаете, Александр Семенович, – сказала Дуня, улыбаясь, – мужики в Концовке говорили, что вы антихрист. Говорят, что ваши яйца дьявольские. Грех машиной выводить. Убить вас хотели.

Александр Семенович вздрогнул и повернулся к жене. Лицо его пожелтело.

– Ну, что вы скажете? Вот народ! Ну что вы сделаете с таким народом? А? Манечка, надо будет им собрание сделать… Завтра вызову из уезда работников. Я им сам скажу речь. Надо будет вообще тут поработать… А то это медвежий какой-то угол…

– Темнота, – молвил охранитель, расположившийся на своей шинели у двери оранжереи.

Следующий день ознаменовался страннейшими и необъяснимыми происшествиями. Утром, при первом же блеске солнца, рощи, которые приветствовали обычно светило неумолчным и мощным стрекотанием птиц, встретили его полным безмолвием. Это было замечено решительно всеми. Словно перед грозой. Но никакой грозы и в помине не было. Разговоры в совхозе приняли странный и двусмысленный для Александра Семеновича оттенок и в особенности потому, что со слов дяди, по прозвищу Козий Зоб, известного смутьяна и мудреца из Концовки, стало известно, что якобы все птицы собрались в косяки и на рассвете убрались куда-то из Шереметева вон, на север, что было просто глупо. Александр Семенович очень расстроился и целый день потратил на то, чтобы созвониться с городом Грачевкой. Оттуда обещали Александру Семеновичу прислать дня через два ораторов на две темы – международное положение и вопрос о Доброкуре.

Вечер тоже был не без сюрпризов. Если утром умолкли рощи, показав вполне ясно, как подозрительно-неприятна тишина деревьев, если в полдень убрались куда-то воробьи с совхозного двора, то к вечеру умолк пруд в Шереметевке. Это было поистине изумительно, ибо всем в окрестностях на сорок верст было превосходно известно знаменитое стрекотание шереметевских лягушек. А теперь они словно вымерли. С пруда не доносилось ни одного голоса, и беззвучно стояла осока. Нужно признаться, что Александр Семенович окончательно расстроился. Об этих происшествиях начали толковать и толковали самым неприятным образом, т. е. за спиной Александра Семеновича.

– Действительно, это странно, – сказал за обедом Александр Семенович жене, – я не могу понять, зачем этим птицам понадобилось улетать?

– Откуда я знаю? – ответила Маня. – Может быть, от твоего луча?

– Ну ты, Маня, обыкновеннейшая дура, – ответил Александр Семенович, бросив ложку, – ты – как мужики. При чем здесь луч?

– А я не знаю. Оставь меня в покое.

Вечером произошел третий сюрприз – опять взвыли собаки в Концовке, и ведь как! Над лунными полями стоял непрерывный стон, злобные тоскливые стенания.

Вознаградил себя Александр Семенович еще сюрпризом, но уже приятным, а именно в оранжерее. В камерах начал слышаться беспрерывный стук в красных яйцах. «Токи… токи… токи… токи…» – стучало то в одном, то в другом, то в третьем яйце.

Стук в яйцах был триумфальным стуком для Александра Семеновича. Тотчас были забыты странные происшествия в роще и на пруде. Сошлись все в оранжерее: и Маня, и Дуня, и сторож, и охранитель, оставивший винтовку у двери.

– Ну, что? Что вы скажете? – победоносно спрашивал Александр Семенович. Все с любопытством наклоняли уши к дверцам первой камеры.

– Это они клювами стучат, цыплятки, – продолжал, сияя, Александр Семенович. – Не выведу цыпляток, скажете? Нет, дорогие мои, – и от избытка чувств он похлопал охранителя по плечу. – Выведу таких, что вы ахнете. Теперь мне в оба смотреть, – строго добавил он. – Чуть только начнут вылупляться, сейчас же мне дать знать.

– Хорошо, – хором ответили сторож, Дуня и охранитель.

«Таки… таки… таки…» – закипало то в одном, то в другом яйце первой камеры. Действительно, картина на глазах нарождающейся новой жизни в тонкой отсвечивающей кожуре была настолько интересна, что все общество еще долго просидело на опрокинутых ящиках, глядя, как в загадочном мерцающем свете созревали малиновые яйца. Разошлись спать довольно поздно, когда над совхозом и окрестностями разлилась зеленоватая ночь. Была она загадочна и даже, можно сказать, страшна, вероятно потому, что нарушал ее полное молчание то и дело начинающийся беспричинный тоскливейший и ноющий вой собак в Концовке. Чего бесились проклятые псы – совершенно неизвестно.

Наутро Александра Семеновича ожидала неприятность. Охранитель был крайне сконфужен, руки прикладывал к сердцу, клялся и божился, что не спал, но ничего не заметил.

– Непонятное дело, – уверял охранитель, – я тут непричинен, товарищ Рокк.

– Спасибо вам, и от души благодарен, – распекал его Александр Семенович, – что вы, товарищ, думаете? Зачем вас поставили? Смотреть. Так вы мне и скажите, куда они делись? Ведь вылупились они? Значит, удрали. Значит, вы дверь оставили открытой да и ушли себе сами. Чтоб были мне цыплята!

– Некуда мне ходить. Что я, своего дела не знаю, – обиделся наконец воин. – Что вы меня попрекаете даром, товарищ Рокк!

– Куды ж они подевались?

– Да я почем знаю, – взбесился наконец воин, – что я их, укараулю разве? Я зачем поставлен. Смотреть, чтобы камеры никто не упер, я и исполняю свою должность. Вот вам камеры. А ловить ваших цыплят я не обязан по закону. Кто его знает, какие у вас цыплята вылупятся, может, их на велосипеде не догонишь!

Александр Семенович несколько осекся, пробурчал еще что-то и впал в состояние изумления. Дело-то на самом деле было странное. В первой камере, которую зарядили раньше всех, два яйца, помещающиеся у самого основания луча, оказались взломанными. И одно из них даже откатилось в сторону. Скорлупа валялась на асбестовом полу, в луче.

– Черт их знает, – бормотал Александр Семенович, – окна заперты, не через крышу же они улетели!

Он задрал голову и посмотрел туда, где в стеклянном переплете крыши было несколько широких дыр.

– Что вы, Александр Семенович, – крайне удивилась Дуня, – станут вам цыплята летать. Они тут где-нибудь… Цып… цып… цып… – начала она кричать и заглядывать в углы оранжереи, где стояли пыльные цветочные вазоны, какие-то доски и хлам. Но никакие цыплята нигде не отзывались.

Весь состав служащих часа два бегал по двору совхоза, разыскивая проворных цыплят, и нигде ничего не нашел. День прошел крайне возбужденно. Караул камер был увеличен еще сторожем, и тому был дан строжайший приказ, каждые четверть часа заглядывать в окна камер и, чуть что, звать Александра Семеновича. Охранитель сидел насупившись у дверей, держа винтовку между колен. Александр Семенович совершенно захлопотался и только во втором часу пообедал. После обеда он поспал часок в прохладной тени на бывшей оттоманке Шереметева, напился совхозовского сухарного кваса, сходил в оранжерею и убедился, что теперь там все в полном порядке. Старик сторож лежал животом на рогоже и, мигая, смотрел в контрольное стекло первой камеры. Охранитель бодрствовал, не уходя от дверей.

Но были и новости: яйца в третьей камере, заряженные позже всех, начали как-то причмокивать и цокать, как будто внутри них кто-то всхлипывал.

– Ух, зреют, – сказал Александр Семенович, – вот это зреют, теперь вижу. Видал? – отнесся он к сторожу…

– Да, дело замечательное, – ответил тот, качая головой и совершенно двусмысленным тоном.

Александр Семенович посидел немного у камер, но при нем никто не вылупился, он поднялся с корточек, размялся и заявил, что из усадьбы никуда не уходит, а только пойдет на пруд выкупаться и чтобы его, в случае чего, немедленно вызвали. Он сбегал во дворец в спальню, где стояли две узких пружинных кровати со скомканным бельем, и на полу была навалена груда зеленых яблок и горы проса, приготовленного для будущих выводков, вооружился мохнатым полотенцем, а подумав, захватил с собой флейту, с тем, чтобы на досуге поиграть над водной гладью. Он бодро выбежал из дворца, пересек двор совхоза и по ивовой аллейке направился к пруду. Бодро шел Рокк, помахивая полотенцем и держа флейту под мышкой. Небо изливало зной сквозь ивы, и тело ныло и просилось в воду. На правой руке у Рокка началась заросль лопухов, в которую он, проходя, плюнул. И тотчас в глубине разлапистой путаницы послышалось шуршание, как будто кто-то поволок бревно. Почувствовав мимолетное неприятное сосание в сердце, Александр Семенович повернул голову к заросли и посмотрел с удивлением. Пруд уже два дня не отзывался никакими звуками. Шуршание смолкло, поверх лопухов мелькнула привлекательно гладь пруда и серая крыша купаленки. Несколько стрекоз мотнулись перед Александром Семеновичем. Он уже хотел повернуть к деревянным мосткам, как вдруг шорох в зелени повторился, и к нему присоединилось короткое сипение, как будто высочилось масло и пар из паровоза. Александр Семенович насторожился и стал всматриваться в глухую стену сорной заросли.

– Александр Семенович, – прозвучал в этот момент голос жены Рокка, и белая ее кофточка мелькнула, скрылась, но опять – мелькнула в малиннике. – Подожди, я тоже пойду купаться.

Жена спешила к пруду, но Александр Семенович ничего ей не ответил, весь приковавшись к лопухам. Сероватое и оливковое бревно начало подниматься из их чащи, вырастая на глазах. Какие-то мокрые желтоватые пятна, как показалось Александру Семеновичу, усеивали бревно. Оно начало вытягиваться, изгибаясь и шевелясь, и вытянулось так высоко, что перегнало низенькую корявую иву… Затем верх бревна надломился,

немного склонился и над Александром Семеновичем оказалось что-то напоминающее по высоте электрический московский столб. Но только это что-то было раза в три толще столба и гораздо красивее его благодаря чешуйчатой татуировке. Ничего еще не понимая, но уже холодея, Александр Семенович глянул на верх ужасного столба, и сердце в нем на несколько секунд прекратило бой. Ему показалось, что мороз ударил внезапно в августовский день, а перед глазами стало так сумеречно, точно он глядел на солнце сквозь летние штаны.

На верхнем конце бревна оказалась голова. Она была сплющена, заострена и украшена желтым круглым пятном по оливковому фону. Лишенные век, открытые ледяные и узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба. Голова сделала такое движение, словно клюнула воздух, весь столб вобрался в лопухи, и только одни глаза остались и, не мигая, смотрели на Александра Семеновича. Тот, покрытый липким потом, произнес четыре слова, совершенно невероятных и вызванных сводящим с ума страхом. Настолько уж хороши были эти глаза между листьями.

– Что это за шутки…

Затем ему вспомнилось, что факиры… да… да… Индия… плетеная корзинка и картинка… Заклинают.

Голова снова взвилась, и стало выходить и туловище. Александр Семенович поднес флейту к губам, хрипло пискнул и заиграл, ежесекундно задыхаясь, вальс из «Евгения Онегина». Глаза в зелени тотчас же загорелись непримиримою ненавистью к этой опере.

– Что ты, одурел, что играешь на жаре? – послышался веселый голос Мани, и где-то краем глаза справа уловил Александр Семенович белое пятно.

Затем истошный визг пронзил весь совхоз, разросся и взлетел, а вальс запрыгал как с перебитой ногой. Голова из зелени рванулась вперед, глаза ее покинули Александра Семеновича, отпустив его душу на покаяние. Змея приблизительно в пятнадцать аршин и толщиной в человека, как пружина, выскочила из лопухов. Туча пыли брызнула с дороги, и вальс кончился. Змея махнула мимо заведующего совхозом прямо туда, где была видна белая кофточка на дороге. Рокк видел совершенно отчетливо: Маня стала желто-белой, и ее длинные волосы как проволочные поднялись на пол-аршина над головой. Змея на глазах Рокка, раскрыв на мгновение пасть, из которой вынырнуло что-то похожее на вилку, ухватила зубами Маню, оседающую в пыль, за плечо, так что вздернула ее на аршин над землей. Тогда Маня повторила режущий предсмертный крик.

Змея извернулась пятисаженным винтом, хвост ее взмел смерч, и стала Маню давить. Та больше не издала ни одного звука, и только Рокк слышал, как лопались ее кости. Высоко над землей взметнулась голова Мани, нежно прижавшись к змеиной щеке. Изо рта у Мани плеснуло кровью, выскочила сломанная рука и из-под ногтей брызнули фонтанчики крови. Затем змея, вывихнув челюсти, раскрыла пасть и разом надела свою голову на голову Мани и стала налезать на нее, как перчатка на палец. От змеи во все стороны било такое жаркое дыхание, что оно коснулось лица Рокка, а хвост чуть не смел его с дороги в едкой пыли. Вот тут-то Рокк и поседел. Сначала левая и потом правая половина его черной головы покрылась серебром. В смертной тошноте он оторвался, наконец, от дороги и, ничего и никого не видя, оглашая окрестности диким ревом, бросился бежать…

Глава 9. Живая каша

Агент государственного политического управления на станции Дугино Щукин был очень храбрым человеком. Он задумчиво сказал своему товарищу, рыжему Полайтису:

– Ну, что ж, поедем. А? Давай мотоцикл, – потом помолчал и добавил, обращаясь к человеку, сидящему на лавке: – Флейту-то положите.

Но седой трясущийся человек на лавке, в помещении дугинского ГПУ, флейты не положил, а заплакал и замычал. Тогда Щукин и Полайтис поняли, что флейту нужно вынуть. Пальцы присохли к ней. Щукин, отличавшийся огромной, почти цирковой силой, стал палец за пальцем отгибать и отогнул все. Тогда флейту положили на стол.

Это было ранним солнечным утром следующего за смертью Мани дня.

– Вы поедете с нами, – сказал Щукин, обращаясь к Александру Семеновичу, – покажете нам где и что. – Но Рокк в ужасе отстранился от него и руками закрылся, как от страшного видения.

– Нужно показать, – добавил сурово Полайтис.

– Нет, оставь его. Видишь, человек не в себе.

– Отправьте меня в Москву, – плача, попросил Александр Семенович.

– Вы разве совсем не вернетесь в совхоз?

Но Рокк вместо ответа опять заслонился руками, и ужас потек из его глаз.

– Ну, ладно, – решил Щукин, – вы действительно не в силах… Я вижу. Сейчас курьерский пойдет, с ним и поезжайте.

Затем у Щукина с Полайтисом, пока сторож станционный отпаивал Александра Семеновича водой и тот лязгал зубами по синей выщербленной кружке, произошло совещание… Полайтис полагал, что вообще ничего не было, а просто-напросто Рокк душевнобольной и у него была страшная галлюцинация. Щукин же склонялся к мысли, что из города Грачевки, где в настоящий момент гастролирует цирк, убежал удав-констриктор. Услыхав их сомневающийся шепот, Рокк привстал. Он несколько пришел в себя и сказал, простирая руки, как библейский пророк:

– Слушайте меня. Слушайте. Что же вы мне не верите? Она была. Где же моя жена?

Щукин стал молчалив и серьезен и немедленно дал в Грачевку какую-то телеграмму. Третий агент, по распоряжению Щукина, стал неотступно находиться при Александре Семеновиче

и должен был сопровождать его в Москву. Щукин же с Полайтисом стали готовиться к экспедиции. У них был всего один электрический револьвер, но и это была уже хорошая защита. Пятидесятизарядная модель 27-го года, гордость французской техники для близкого боя, била всего на сто шагов, но давала поле два метра в диаметре и в этом поле все живое убивала наповал. Промахнуться было очень трудно. Щукин надел блестящую электрическую игрушку, а Полайтис обыкновенный 25-зарядный поясной пулеметик, взял обоймы, и на одном мотоцикле, по утренней росе и холодку, они по шоссе покатились к совхозу. Мотоцикл простучал двадцать верст, отделявших станцию от совхоза, в четверть часа (Рокк шел всю ночь, то и дело прячась, в припадках смертного ужаса, в придорожную траву), и когда солнце начало значительно припекать, на пригорке, под которым вилась речка топь, глянул сахарный с колоннами дворец в зелени. Мертвая тишина стояла вокруг. У самого подъезда к совхозу агенты обогнали крестьянина на подводе. Тот плелся не спеша, нагруженный какими-то мешками, и вскоре остался позади. Мотоциклетка пробежала по мосту, и Полайтис затрубил в рожок, чтобы вызвать кого-нибудь. Но никто нигде не отозвался, за исключением отдаленных остервенившихся собак в Концовке. Мотоцикл, замедляя ход, подошел к воротам с позеленевшими львами. Запыленные агенты в желтых гетрах соскочили, прицепили цепью с замком к переплету решетки машину и вошли во двор. Тишина их поразила.

– Эй, кто тут есть! – крикнул Щукин громко.

Но никто не отозвался на его бас. Агенты обошли двор кругом, все более удивляясь. Полайтис нахмурился. Щукин стал посматривать серьезно, все более хмуря светлые брови. Заглянули через открытое окно в кухню и увидали, что там никого нет, но весь пол усеян белыми осколками посуды.

– Ты знаешь, что-то действительно случилось. Я теперь вижу. Катастрофа, – молвил Полайтис.

– Эй, кто там есть! Эй! – кричал Щукин, но ему отвечало только эхо под сводами кухни.

– Черт их знает! – ворчал Щукин. – Ведь не могла же она слопать их всех сразу. Или разбежались. Идем в дом.

Дверь во дворце с колонной верандой была открыта настежь, и в нем было совершенно пусто. Агенты прошли даже в мезонин, стучали и открывали все двери, но ничего решительно не добились и, через вымершее крыльцо, вновь вышли во двор.

– Обойдем кругом. К оранжереям, – распорядился Щукин, – все обшарим, а там можно будет протелефонировать.

По кирпичной дорожке агенты пошли, минуя клумбы, на

задний двор, пересекли его и увидали блестящие стекла оранжереи.

– Погоди-ка, – заметил шепотом Щукин и отстегнул с пояса револьвер. Полайтис насторожился и снял пулемет. Странный и очень зычный звук тянулся в оранжерее и где-то за нею. Похоже было, что где-то шипит паровоз. «Зау-зау… зау-зау… с-с-с-с-с…» – шипела оранжерея.

– А ну-ка, осторожно, – шепнул Щукин, и, стараясь не стучать каблуками, агенты придвинулись к самым стеклам и заглянули в оранжерею.

Тотчас Полайтис откинулся назад, и лицо его стало бледно. Щукин открыл рот и застыл с револьвером в руке.

Вся оранжерея жила как червивая каша. Свиваясь и развиваясь в клубки, шипя и разворачиваясь, шаря и качая головами, по полу оранжереи ползли огромные змеи. Битая скорлупа валялась на полу и хрустела под их телами. Вверху бледно горел огромной силы электрический шар, и от него вся внутренность оранжереи освещалась странным кинематографическим светом. На полу торчали три темных, словно фотографических, огромных ящика, два из них, сдвинутые и покосившиеся, потухли, а в третьем горело небольшое густо-малиновое световое пятно. Змеи всех размеров ползли по проводам, поднимались по переплетам рам, вылезали через отверстия на крыше. На самом электрическом шаре висела совершенно черная, пятнистая змея в несколько аршин, и голова ее качалась у шара, как маятник. Какие-то погремушки звякали в шипении, из оранжереи тянуло странным гнилостным, словно прудовым запахом. И еще смутно разглядели агенты кучи белых яиц, валяющихся в пыльных углах, и странную гигантскую голенастую птицу, лежащую неподвижно у камер, и труп человека в сером у двери, рядом с винтовкой.

– Назад, – крикнул Щукин и стал пятиться, левой рукой отдавливая Полайтиса и поднимая правою револьвер. Он успел выстрелить раз девять, прошипев и выбросив около оранжереи зеленоватую молнию. Звук страшно усилился, и в ответ на стрельбу Щукина вся оранжерея пришла в бешеное движение, и плоские головы замелькали во всех дырах. Гром тотчас же начал скакать по всему совхозу и играть отблесками на стенах. «Чах-чах-чах-чах», – стрелял Полайтис, отступая задом. Страшный, четырехлапый шорох послышался за спиною, и Полайтис вдруг страшно крикнул, падая навзничь. Существо на вывернутых лапах, коричнево-зеленого цвета, с громадной острой мордой, с гребенчатым хвостом, похожее на страшных размеров ящерицу, выкатилось из-за угла сарая и, яростно перекусив ногу

Полайтису, сбило его на землю.

– Помоги, – крикнул Полайтис, и тотчас левая рука его попала в пасть и хрустнула, правой рукой он, тщетно пытаясь поднять ее, повез револьвером по земле. Щукин обернулся и заметался. Раз он успел выстрелить, но сильно взял в сторону, потому что боялся убить товарища. Второй раз он выстрелил по направлению оранжереи, потому что оттуда среди небольших змеиных морд высунулась одна огромная, оливковая, и туловище выскочило прямо по направлению к нему. Этим выстрелом он гигантскую змею убил и опять, прыгая и вертясь возле Полайтиса, полумертвого уже в пасти крокодила, выбирал место, куда бы выстрелить, чтобы убить страшного гада, не тронув агента. Наконец, это ему удалось. Из электроревольвера хлопнуло два раза, осветив все вокруг зеленоватым светом, и крокодил, прыгнув, вытянулся, окоченев, и выпустил Полайтиса. Кровь у того текла из рукава, текла изо рта, и он, припадая на правую здоровую руку, тянул переломленную левую ногу. Глаза его угасали.

– Щукин… беги, – промычал он, всхлипывая.

Щукин выстрелил несколько раз по направлению оранжереи, и в ней вылетело несколько стекол. Но огромная пружина, оливковая и гибкая, сзади, выскочив из подвального окна, перескользнула двор, заняв его весь пятисаженным телом, и во мгновение обвила ноги Щукина. Его швырнуло вниз на землю, и блестящий револьвер отпрыгнул в сторону. Щукин крикнул мощно, потом задохся, потом кольца скрыли его совершенно, кроме головы. Кольцо прошло раз по голове, сдирая с нее скальп, и голова эта треснула. Больше в совхозе не послышалось ни одного выстрела. Все погасил шипящий, покрывающий звук. И в ответ ему очень далеко по ветру донесся из Концовки вой, но теперь уже нельзя было разобрать, чей это вой, собачий или человечий.

Глава 10. Катастрофа

В ночной редакции газеты «Известия» ярко горели шары, и толстый выпускающий редактор на свинцовом столе верстал вторую полосу с телеграммами «По Союзу республик». Одна гранка попалась ему на глаза, он всмотрелся в нее через пенсне и захохотал, созвал вокруг себя корректоров из корректорской и метранпажа и всем показал эту гранку. На узенькой полоске сырой бумаги было напечатано:

Грачевка, Смоленской губернии. В уезде появилась курица величиною с лошадь и лягается как конь. Вместо хвоста у нее буржуазные дамские перья.

Наборщики страшно хохотали.

– В мое время, – заговорил выпускающий, хихикая жирно, – когда я работал у Вани Сытина в «Русском слове», допивались до слонов. Это верно. А теперь, стало быть, до страусов.

Наборщики хохотали.

– А ведь верно, страус, – заговорил метранпаж, – что же, ставить, Иван Вонифатьевич?

– Да что ты, сдурел, – ответил выпускающий, – я удивляюсь, как секретарь пропустил, – просто пьяная телеграмма.

– Попраздновали, это верно, – согласились наборщики, и метранпаж убрал со стола сообщение о страусе.

Поэтому «Известия» и вышли на другой день, содержа, как обыкновенно, массу интересного материала, но без каких бы то ни было намеков на грачевского страуса. Приват-доцент Иванов, аккуратно читающий «Известия», у себя в кабинете свернул лист, зевнув, молвил: ничего интересного, и стал надевать белый халат. Через некоторое время в кабинетах у него загорелись горелки и заквакали лягушки. В кабинете же профессора Персикова была кутерьма. Испуганный Панкрат стоял и держал руки по швам.

– Понял… Слушаю-с, – говорил он.

Персиков запечатанный сургучом пакет вручил ему, говоря:

– Поедешь прямо в отдел животноводства к этому заведующему Птахе и скажешь прямо, что он – свинья. Скажи, что я так, профессор Персиков, так и сказал. И пакет ему отдай.

«Хорошенькое дело…» – подумал бледный Панкрат и убрался с пакетом.

Персиков бушевал.

– Это черт знает что такое, – скулил он, разгуливая по кабинету и потирая руки в перчатках, – это неслыханное издевательство надо мной и над зоологией. Эти проклятые куриные яйца везут грудами, а я два месяца не могу добиться

необходимого. Словно до Америки далеко! Вечная кутерьма, вечное безобразие. – Он стал считать по пальцам: – Ловля… ну, десять дней самое большее, ну, хорошо – пятнадцать… ну, хорошо, двадцать и перелет два дня, из Лондона в Берлин день… Из Берлина к нам шесть часов… какое-то неописуемое безобразие…

Он яростно набросился на телефон и стал куда-то звонить.

В кабинете у него было все готово для каких-то таинственных и опаснейших опытов, лежала полосами нарезанная бумага для заклейки дверей, лежали водолазные шлемы с отводными трубками и несколько баллонов, блестящих как ртуть, с этикеткою «Доброхим», «не прикасаться» и рисунками черепа со скелетными костями.

Понадобилось по меньшей мере три часа, чтоб профессор успокоился и приступил к мелким работам. Так он и сделал. В институте он работал до одиннадцати часов вечера и поэтому ни о чем не знал, что творится за кремовыми стенами. Ни нелепый слух, пролетевший по Москве, о каких-то змеях, ни странная выкрикнутая телеграмма в вечерней газете ему остались неизвестны, потому что доцент Иванов был в художественном театре на «Федоре Иоанновиче», и, стало быть, сообщить новость профессору было некому.

Персиков около полуночи приехал на Пречистенку и лег спать, почитав еще на ночь в кровати какую-то английскую статью в журнале «Зоологический вестник», полученном из Лондона. Он спал, да спала и вся вертящаяся до поздней ночи Москва, и не спал лишь громадный серый корпус на Тверской ул. во дворе, где страшно гудели, потрясая все здание, ротационные машины «Известий». В кабинете выпускающего происходила невероятная кутерьма и путаница. Он, совершенно бешеный, с красными глазами метался, не зная, что делать, и посылал всех к чертовой матери. Метранпаж ходил за ним и, дыша винным духом, говорил:

– Ну, что же, Иван Вонифатьевич, не беда, пускай завтра утром выпускают экстренное приложение. Не из машины же номер выдирать.

Наборщики не разошлись домой, а ходили стаями, сбивались кучами и читали телеграммы, которые шли теперь всю ночь напролет, через каждые четверть часа, становясь все чудовищнее и страннее. Острая шляпа Альфреда Бронского мелькала в ослепительном розовом свете, заливавшем типографию. И механический толстяк скрипел и ковылял, показываясь то здесь, то там. В подъезде хлопали двери и всю ночь появлялись репортеры. По всем 12 телефонам типографии звонили

непрерывно, и станция почти механически подавала в ответ на загадочные трубки «занята», «занято», и на станции перед бессонными барышнями пели и пели сигнальные рожки…

Наборщики облепили механического толстяка и капитан дальнего плавания говорил им:

– Аэропланы с газом придется посылать.

– Не иначе, – отвечали наборщики, – ведь это что ж такое. – Затем страшная матерная ругань перекатывалась в воздухе и чей-то визгливый голос кричал:

– Этого Персикова расстрелять надо.

– При чем тут Персиков, – отвечали из гущи, – этого сукина сына в совхозе – вот кого надо расстрелять.

– Охрану надо было поставить, – выкрикивал кто-то.

– Да, может, это вовсе и не яйца.

Все здание тряслось и гудело от ротационных колес, и создавалось такое впечатление, что серый неприглядный корпус полыхает электрическим пожаром.

Занявшийся день не остановил его. Напротив, только усилил, хоть и электричество погасло. Мотоциклетки одна за другой вкатывались в асфальтовый двор, вперемешку с автомобилями. Вся Москва встала, и белые листья газеты одели ее, как птицы. Листья сыпались и шуршали у всех в руках, и у газетчиков к одиннадцати часам дня не хватало номеров, несмотря на то, что «Известия» выходили в этом месяце с тиражом в полтора миллиона экземпляров. Профессор Персиков выехал с Пречистенки на автобусе и прибыл в институт. Там его ожидала новость. В вестибюле стояли аккуратно обшитые металлическими полосами деревянные ящики, в количестве трех штук, испещренные заграничными наклейками на немецком языке, и над ними царствовала одна русская меловая надпись: «осторожно – яйца».

Бурная радость овладела профессором.

– Наконец-то, – вскричал он. – Панкрат, взламывай ящики немедленно и осторожно, чтобы не побить. Ко мне в кабинет.

Панкрат немедленно исполнил приказание, и через четверть часа в кабинете профессора, усеянном опилками и обрывками бумаги, бушевал его голос.

– Да они что же, издеваются надо мною, что ли, – выл профессор, потрясая кулаками и вертя в руках яйца. – Это какая-то скотина, а не Птаха. Я не позволю смеяться надо мной. Это что такое, Панкрат?

– Яйца-с, – отвечал Панкрат горестно.

– Куриные, понимаешь, куриные, черт бы их задрал! На какого дьявола они мне нужны. Пусть посылают их этому негодяю

в совхоз!

Персиков бросился в угол к телефону, но не успел позвонить.

– Владимир Ипатьич! Владимир Ипатьич! – загремел в коридоре института голос Иванова.

Персиков оторвался от телефона, и Панкрат стрельнул в сторону, давая дорогу приват-доценту. Тот вбежал в кабинет, вопреки своему джентльменскому обычаю, не снимая серой шляпы, сияющей на затылке и с газетным листом в руках.

– Вы знаете, Владимир Ипатьич, что случилось, – выкрикивал он и взмахнул перед лицом Персикова листом с надписью: «экстренное приложение», посредине которого красовался яркий цветной рисунок.

– Нет, выслушайте, что они сделали, – в ответ закричал, не слушая, Персиков, – они меня вздумали удивить куриными яйцами. Этот Птаха форменный идиот, посмотрите!

Иванов совершенно ошалел. Он в ужасе уставился на вскрытые ящики, потом на лист, затем глаза его почти выпрыгнули с лица.

– Так вот что, – задыхаясь забормотал он, – теперь я понимаю… Нет, Владимир Ипатьич, вы только гляньте, – он мгновенно развернул лист и дрожащими пальцами указал Персикову на цветное изображение. На нем, как страшный пожарный шланг, извивалась оливковая в желтых пятнах змея, в странной смазанной зелени. Она была снята сверху, с легонькой летательной машины, осторожно скользнувшей над змеей. – Кто это, по-вашему, Владимир Ипатьич?

Персиков сдвинул очки на лоб, потом передвинул их на глаза, всмотрелся в рисунок и сказал в крайнем удивлении:

– Что за черт. Это… да это анаконда, водяной удав…

Иванов сбросил шляпу, опустился на стул и сказал, выстукивая каждое слово кулаком по столу:

– Владимир Ипатьич, эта анаконда из Смоленской губернии. Что-то чудовищное. Вы понимаете, этот негодяй вывел змей вместо кур и, вы поймите, они дали такую же самую феноменальную кладку, как лягушки!

– Что такое? – ответил Персиков, и лицо его сделалось бурым… – Вы шутите, Петр Степанович… Откуда?

Иванов онемел на мгновение, потом получил дар слова и, тыча пальцем в открытый ящик, где сверкали беленькие головки в желтых опилках, сказал:

– Вот откуда.

– Что-о?! – завыл Персиков, начиная соображать.

Иванов совершенно уверенно взмахнул двумя сжатыми кулаками и закричал:

– Будьте покойны. Они ваш заказ на змеиные и страусовые яйца переслали в совхоз, а куриные вам по ошибке.

– Боже мой… боже мой, – повторил Персиков и, зеленея лицом, стал садиться на винтящийся табурет.

Панкрат совершенно одурел у двери, побледнел и онемел. Иванов вскочил, схватил лист и, подчеркивая острым ногтем строчку, закричал в уши профессору:

– Ну теперь они будут иметь веселую историю!.. Что теперь будет, я решительно не представляю. Владимир Ипатьич, вы гляньте, – и он завопил вслух, вычитывая первое попавшееся место со скомканного листа… – Змеи идут стаями в направлении Можайска… откладывая неимоверное количество яиц. Яйца были замечены в Духовском уезде… Появились крокодилы и страусы. Части особого назначения и отряды государственного управления прекратили панику в Вязьме после того, как зажгли пригородный лес, остановивший движение гадов…

Персиков, разноцветный, иссиня-бледный, с сумасшедшими глазами, поднялся с табурета и, задыхаясь, начал кричать:

– Анаконда… анаконда… водяной удав! Боже мой! – в таком состоянии его еще никогда не видали ни Иванов, ни Панкрат.

Профессор сорвал одним взмахом галстук, оборвал пуговицы на сорочке, побагровел страшным параличным цветом и, шатаясь, с совершенно тупыми стеклянными глазами, ринулся куда-то вон. Вопль разлетелся под каменными сводами института.

– Анаконда… анаконда, – загремело эхо.

– Лови профессора! – взвизгнул Иванов Панкрату, заплясавшему от ужаса на месте. – Воды ему… у него удар.

Глава 11. Бой и смерть

Пылала бешеная электрическая ночь в Москве. Горели все огни, и в квартирах не было места, где бы не сияли лампы со сброшенными абажурами. Ни в одной квартире Москвы, насчитывающей 4 миллиона населения, не спал ни один человек, кроме неосмысленных детей. В квартирах ели и пили как попало. В квартирах что-то выкрикивали, и поминутно искаженные лица выглядывали в окна во всех этажах, устремляя взор в небо, во всех направлениях изрезанное прожекторами. На небе то и дело вспыхивали белые огни, отбрасывая летающие белые конусы на Москву, и исчезали и гасли. В особенности страшно было на Тверской-Ямской. На Александровский вокзал каждые десять минут приходили поезда, сбитые как попало из товарных и разноклассных вагонов и даже цистерн, облепленных обезумевшими людьми, и по Тверской-Ямской бежали густой кашей, ехали в автобусах, ехали на крышах трамваев, давили друг друга и попадали под колеса. На вокзале то и дело вспыхивала трескучая тревожная стрельба поверх толпы – это воинские части останавливали панику сумасшедших, бегущих по стрелкам железных дорог из Смоленской губернии в Москву. На вокзале то и дело с бешеным легким всхлипыванием вылетали стекла в окнах, выли все паровозы. Все улицы были усеяны плакатами, брошенными и растоптанными, и эти же плакаты под жгучими малиновыми рефлекторами глядели со стен. Они всем уже были известны, и никто их не читал. В них Москва объявлялась на военном положении. В них грозили за панику и сообщили, что в Смоленскую губернию часть за частью уже едут отряды Красной армии, вооруженные газами. Но плакаты не могли остановить воющей ночи. В квартирах роняли и били посуду и цветочные вазоны, бегали, задевали за углы, разматывали и сматывали какие-то узлы и чемоданы, в тщетной надежде пробраться на Каланчевскую площадь, на Ярославский или Николаевский вокзал. Увы, все вокзалы, ведущие на север и на восток, были оцеплены густейшим слоем пехоты, и громадные грузовики, колыша и бренча цепями, доверху нагруженные ящиками, поверх которых сидели армейцы в остроконечных шлемах, ощетинившиеся во все стороны штыками, увозили запасы золотых монет из подвалов народного комиссариата финансов и громадные ящики с надписью:

Машины рявкали и бегали по всей Москве.

Очень далеко на небе дрожал отсвет пожара и слышались, колыша густую черноту августа, беспрерывные удары пушек.

Под утро, по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по Тверской, сметая все встречное, что жалось в подъезды и витрины, выдавливая стекла, прошла многотысячная, стрекочащая копытами по торцам, змея конной армии. Малиновые башлыки мотались концами на серых спинах, и кончики пик кололи небо. Толпа, мечущаяся и воющая, как будто ожила сразу, увидав ломящиеся вперед, рассекающие расплеснутое варево безумия шеренги. В толпе на тротуарах начали призывно, с надеждою, выть.

– Да здравствует конная армия! – кричали иступленные женские голоса.

– Да здравствует! – отзывались мужчины.

– Задавят!!. Давят!.. – выли где-то.

– Помогите! – кричали с тротуара.

Коробки папирос, серебряные деньги, часы полетели в шеренги с тротуара, какие-то женщины выскакивали на мостовую и, рискуя костями, плелись с боков конского строя, цеплялись за стремена и целуя их. В беспрерывном стрекоте копыт изредка взмывали голоса взводных:

– Короче повод.

Где-то пели весело и разухабисто, и с коней смотрели в зыбком рекламном свете лица в заломленных малиновых шапках. То и дело, прерывая шеренги конных с открытыми лицами, шли на конях же странные фигуры, в странных чадрах, с отводными за спину трубками и с баллонами на ремнях за спиной. За ними ползли громадные цистерны-автомобили, с длиннейшими рукавами и шлангами, точно на пожарных повозках, и тяжелые, раздавливающие торцы, наглухо закрытые и светящиеся узенькими бойницами танки на гусеничных лапах. Прерывались шеренги конных и шли автомобили, зашитые наглухо в серую броню, с теми же трубками, торчащими наружу, и белыми нарисованными черепами на боках с надписью «газ», «Доброхим».

– Выручайте, братцы, – завывали с тротуаров, – бейте гадов… Спасайте Москву!

– Мать… мать… – перекатывалось по рядам. Папиросы пачками прыгали в освещенном ночном воздухе, и белые зубы скалились на ошалевших людей с коней. По рядам разливалось глухое и щиплющее сердце пение:

…Ни туз, ни дама, ни валет, Побьем мы гадов без сомненья, Четыре с боку – ваших нет…

Гудящие раскаты «ура» выплывали над всей этой кашей, потому что пронесся слух, что впереди шеренг на лошади, в таком же малиновом башлыке, как и все всадники, едет ставший легендарным десять лет назад, постаревший и поседевший командир конной громады. Толпа завывала и в небо улетал, немного успокаивая мятущиеся сердца, гул «ура… ура…»

Институт был скупо освещен. События в него долетали только отдельными, смутными и глухими отзвуками. Раз под огненными часами близ манежа грохнул веером залп, это расстреляли на месте мародеров, пытавшихся ограбить квартиру на Волхонке. Машинного движения на улице здесь было мало, оно все сбивалось к вокзалам. В кабинете профессора, где тускло горела одна лампа, отбрасывая пучок на стол, Персиков сидел, положив голову на руки, и молчал. Слоистый дым веял вокруг него. Луч в ящике погас. В террариях лягушки молчали, потому что уже спали. Профессор не работал и не читал. В стороне, под левым его локтем, лежал вечерний выпуск телеграмм на узкой полосе, сообщавший, что Смоленск горит весь и что артиллерия обстреливает можайский лес по квадратам, громя залежи крокодильих яиц, разложенных во всех сырых оврагах. Сообщалось, что эскадрилья аэропланов под Вязьмою действовала весьма удачно, залив газом почти весь уезд, но что жертвы человеческие в этих пространствах неисчислимы из-за того, что население, вместо того, чтобы покидать уезды в порядке правильной эвакуации, благодаря панике металось разрозненными группами на свой страх и риск, кидаясь куда глаза глядят. Сообщалось, что отдельная кавказская кавалерийская дивизия в можайском направлении блистательно выиграла бой со страусовыми стаями, перерубив их всех и уничтожив громадные кладки страусовых яиц. При этом дивизия понесла незначительные потери. Сообщалось от правительства, что в случае, если гадов не удастся удержать в 200-верстной зоне от столицы, она будет эвакуирована в полном порядке. Служащие и рабочие должны соблюдать полное спокойствие. Правительство примет самые жестокие меры к тому, чтобы не допустить смоленской истории, в результате которой, благодаря смятению, вызванному неожиданным нападением гремучих змей, появившихся в количестве нескольких тысяч, город загорелся во всех местах, где бросили горящие печи и начали безнадежный повальный исход. Сообщалось, что продовольствием Москва обеспечена по меньшей мере на полгода и что совет при главнокомандующем принимает срочные меры к бронировке

квартир для того, чтобы вести бои с гадами на самых улицах столицы, в случае, если красным армиям и аэропланам и эскадрильям не удастся удержать нашествие пресмыкающихся.

Ничего этого профессор не читал, смотрел остекленевшими глазами перед собой и курил. Кроме него только два человека были в институте – Панкрат и то и дело заливающаяся слезами экономка Марья Степановна, бессонная уже третью ночь, которую она проводила в кабинете профессора, ни за что не желающего покинуть свой единственный оставшийся потухший ящик. Теперь Марья Степановна приютилась на клеенчатом диване, в тени в углу, и молчала в скорбной думе, глядя, как чайник с чаем, предназначенным для профессора, закипал на треножнике газовой горелки. Институт молчал, и все произошло внезапно.

С тротуара вдруг послышались ненавистные звонкие крики, так что Марья Степановна вскочила и взвизгнула. На улице замелькали огни фонарей и отозвался голос Панкрата в вестибюле. Профессор плохо воспринял этот шум. Он поднял на мгновение голову, пробормотал: «Ишь как беснуются… что ж я теперь поделаю». И вновь впал в оцепенение. Но оно было нарушено. Страшно загремели кованые двери института, выходящие на Герцена, и все стены затряслись. Затем лопнул сплошной зеркальный слой в соседнем кабинете. Зазвенело и высыпалось стекло в кабинете профессора, и серый булыжник прыгнул в окно, развалив стеклянный стол. Лягушки шарахнулись в террариях и подняли вопль. Заметалась, завизжала Марья Степановна, бросилась к профессору, хватая его за руки и крича: «Убегайте, Владимир Ипатьич, убегайте». – Тот поднялся с винтящегося стула, выпрямился и, сложив палец крючком, ответил, причем глаза его на миг приобрели прежний остренький блеск, напоминавший прежнего вдохновенного Персикова.

– Никуда я не пойду, – проговорил он, – это просто глупость, они мечутся, как сумасшедшие… Ну, а если вся Москва сошла с ума, то куда же я уйду. И, пожалуйста, перестаньте кричать. При чем здесь я. Панкрат! – позвал он и нажал кнопку.

Вероятно, он хотел, чтоб Панкрат прекратил всю суету, которой он вообще никогда не любил. Но Панкрат ничего уже не мог поделать. Грохот кончился тем, что двери института растворились и издалека донеслись хлопушечки выстрелов, а потом весь каменный институт заполнился бегом, выкриками, боем стекол. Марья Степановна вцепилась в рукав Персикова и начала его тащить куда-то, но он отбился от нее, вытянулся во весь рост и, как был в белом халате, вышел в коридор.

– Ну? – спросил он. Двери распахнулись, и первое, что

появилось в дверях, это спина военного с малиновым шевроном и звездой на левом рукаве. Он отступал из двери, в которую напирала яростная толпа, спиной и стрелял из револьвера. Потом он бросился бежать мимо Персикова, крикнув ему:

– Профессор, спасайтесь, я больше ничего не могу сделать.

Его словам ответил визг Марьи Степановны. Военный проскочил мимо Персикова, стоящего как белое изваяние, и исчез во тьме извилистых коридоров в противоположном конце. Люди вылетали из дверей, завывая:

– Бей его! Убивай…

– Мирового злодея!

– Ты распустил гадов!

Искаженные лица, разорванные платья запрыгали в коридорах, и кто-то выстрелил. Замелькали палки. Персиков немного отступил назад, прикрыл дверь, ведущую в кабинет, где в ужасе на полу на коленях стояла Марья Степановна, распростер руки, как распятый… он не хотел пустить толпу и закричал в раздражении:

– Это форменное сумасшествие… вы совершенно дикие звери. Что вам нужно? – Завыл: – Вон отсюда! – и закончил фразу резким, всем знакомым выкриком: – Панкрат, гони их вон.

Но Панкрат никого уже не мог выгнать. Панкрат с разбитой головой, истоптанный и рваный в клочья, лежал недвижимо в вестибюле, и новые и новые толпы рвались мимо него, не обращая внимания на стрельбу милиции с улицы.

Низкий человек, на обезьяньих кривых ногах, в разорванном пиджаке, в разорванной манишке, сбившейся на сторону, опередил других, дорвался до Персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову. Персиков качнулся, стал падать на бок, и последним его словом было:

– Панкрат… Панкрат…

Ни в чем не повинную Марью Степановну убили и растерзали в кабинете, камеру, где потух луч, разнесли в клочья, в клочья разнесли террарии, перебив и истоптав обезумевших лягушек, раздробили стеклянные столы, раздробили рефлекторы, а через час институт пылал, возле него валялись трупы, оцепленные шеренгою вооруженных электрическими револьверами, и пожарные автомобили, насасывая воду из кранов, лили струи во все окна, из которых, гудя, длинно выбивалось пламя.

Глава 12. Морозный бог на машине

В ночь с 19-го на 20-е августа 1928 года упал неслыханный, никем из старожилов никогда еще не отмеченный мороз. Он пришел и продержался двое суток, достигнув 18 градусов. Остервеневшая Москва заперла все окна, все двери. Только к концу третьих суток поняло население, что мороз спас столицу и те безграничные пространства, которыми она владела и на которые упала страшная беда 28-го года. Конная армия под Можайском, потерявшая три четверти своего состава, начала изнемогать, и газовые эскадрильи не могли остановить движения мерзких пресмыкающихся, полукольцом заходивших с запада, юго-запада и юга по направлению к Москве.

Их задушил мороз. Двух суток по 18 градусов не выдержали омерзительные стаи, и в 20-х числах августа, когда мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту, оставив влагу в воздухе, оставив побитую нежданным холодом зелень на деревьях, биться больше было не с кем. Беда кончилась. Леса, поля, необозримые болота были еще завалены разноцветными яйцами, покрытыми порою странным, нездешним рисунком, который безвестно пропавший Рокк принимал за грязюку, но эти яйца были совершенно безвредны. Они были мертвы, зародыши в них были прикончены.

Необозримые пространства земли еще долго гнили от бесчисленных трупов крокодилов и змей, вызванных к жизни таинственным, родившимся на улице Герцена в гениальных глазах лучом, но они уже не были опасны, непрочные созданья гнилостных жарких тропических болот погибли в два дня, оставив на пространстве трех губерний страшное зловоние, разложение и гной.

Были долгие эпидемии, были долго повальные болезни от трупов гадов и людей, и долго еще ходила армия, но уже снабженная не газами, а саперными принадлежностями, керосиновыми цистернами и шлангами, очищая землю. Очистила, и все кончилось к весне 29-го года.

А весною 29-го года опять затанцевала, загорелась и завертелась огнями Москва, и опять по-прежнему шаркало движение механических экипажей, и над шапкою Храма Христа висел, как на ниточке, лунный серп, и на месте сгоревшего в августе 28-го года двухэтажного института выстроили новый зоологический дворец, и им заведовал приват-доцент Иванов, но Персикова уже не было. Никогда не возникал перед глазами людей скорченный убедительный крючок из пальца, и никто больше не слышал скрипучего квакающего голоса. О луче и

катастрофе 28-го года еще долго говорил и писал весь мир, но потом имя профессора Владимира Ипатьевича Персикова оделось туманом и погасло, как погас и самый открытый им в апрельскую ночь красный луч. Луч же этот вновь получить не удалось, хоть иногда изящный джентльмен и ныне ординарный профессор Петр Степанович Иванов и пытался. Первую камеру уничтожила разъяренная толпа в ночь убийства Персикова. Три камеры сгорели в никольском совхозе «Красный луч» при первом бое эскадрильи с гадами, а восстановить их не удалось. Как ни просто было сочетание стекол с зеркальными пучками света, его не скомбинировали во второй раз, несмотря на старания Иванова. Очевидно, для этого нужно было что-то особенное, кроме знания, чем обладал в мире только один человек – покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков.

Москва, 1924 год, октябрь

Записки юного врача

Полотенце с петухом

Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего: все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу.

Скажу коротко: сорок верст, отделяющих уездный город Грачевку от Мурьевской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно: в два часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки, а в два часа пять минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял на битой, умирающей и смякшей от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьевской больницы. Стоял я в таком виде: ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же во дворе мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно, или мне это померещилось во вчерашнем сне в деревне Грабиловке, болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы? Как ее, проклятую, зовут по-латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах говорить не приходится – они уже не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные культяпки. Сознаюсь, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное пять лет тому назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и наконец плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать, и опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь – паралич. «Парализис», – отчаянно мысленно и черт знает зачем сказал я себе.

– П… по вашим дорогам, – заговорил я деревянными, синенькими губами, – нужно п… привыкнуть ездить.

И при этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге.

– Эх… товарищ доктор, – отозвался возница, тоже еле шевеля губами под светлыми усишками, – пятнадцать годов езжу, а все привыкнуть не могу.

Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию – двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове

вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки мозгах полный тенор с голубыми ляжками:

– «Привет тебе… при-ют свя-щенный…»

Прощай, прощай надолго, золото-красный Большой театр, Москва, витрины… ах, прощай.

«Я тулуп буду в следующий раз надевать… – в злобном отчаянии думал я и рвал чемодан за ремни негнущимися руками, – я… хотя в следующий раз будет уже октябрь… хоть два тулупа надевай. А раньше чем через месяц я не поеду, не поеду в Грачевку… Подумайте сами… ведь ночевать пришлось! Двадцать верст сделали и оказались в могильной тьме… ночь… в Грабиловке пришлось ночевать… учитель пустил… А сегодня утром выехали в семь утра… И вот едешь… батюшки-с-светы… медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух подымается, чемодан на ноги – бух… потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком. А сверху сеет и сеет, и стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в лютую зиму?! Ан, оказывается, может. И пока умираешь медленною смертью, видишь одно и то же, одно. Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый перелесок, а возле него серые драные избы, штук пять или шесть. И кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание, молчание кругом».

Чемодан наконец поддался. Возница налег на него животом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удержать его за ремень, но рука отказалась работать, и распухший, осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шарахнув меня по ногам.

– Эх ты, Госпо… – начал возница испуганно, но я никаких претензий не предъявлял – ноги у меня были все равно хоть выбрось их.

– Эй, кто тут? Эй! – закричал возница и захлопал руками, как петух крыльями. – Эй, доктора привез!

Тут в темных стеклах фельдшерского домика показались лица, прилипли к ним, хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежав на два шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голоском приветствовал меня:

– Здравствуйте, товарищ доктор.

– Кто вы такой? – спросил я.

– Егорыч я, – отрекомендовался человек, – сторож здешний. Уж мы вас ждем, ждем…

И тут же он ухватился за чемодан, вскинул его на плечо и

понес. Я захромал за ним, безуспешно пытаясь всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне.

Человеку, в сущности, очень немного нужно. И прежде всего ему нужен огонь. Направляясь в мурьевскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне существование на первых шагах. Каждому приходилось представляться:

– Доктор такой-то.

И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал:

– Неужели? А я-то думал, что вы еще студент.

– Нет, я кончил, – хмуро отвечал я и думал: «Очки мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить ни к чему, глаза у меня были здоровые, и ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение, повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в двадцать три года, окончившие университет, а ходить. Выходило все это, как теперь, по прошествии многих лет, понимаю, очень плохо.

В данный момент я этот свой неписаный кодекс поведения нарушил. Сидел, скорчившись, сидел в одних носках, и не где-нибудь в кабинете, а сидел в кухне и, как огнепоклонник, вдохновенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном кверху кадушка, и на ней лежали мои ботинки, рядом с ними ободранный, голокожий петух с окровавленной шеей, рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Дело в том, что еще в состоянии окоченения я успел произвести целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь. Востроносая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под ее руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшера звали Демьян Лукич, акушерок – Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с тою же ясностью я вынужден был признать (про себя, конечно), что очень многих блестящих девственно инструментов назначение мне вовсе неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видел.

– Гм, – очень многозначительно промычал я, – однако у вас инструментарий прелестный. Гм…

– Как же-с, – сладко заметил Демьян Лукич, – это все стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича.

Он ведь с утра до вечера оперировал.

Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафики.

Засим мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно разместить сорок человек.

– У Леопольда Леопольдовича иногда и пятьдесят лежало, – утешал меня Демьян Лукич, а Анна Николаевна, женщина в короне поседевших волос, к чему-то сказала:

– Вы, доктор, так моложавы, так моложавы… Прямо удивительно. Вы на студента похожи.

«Фу ты, черт, – подумал я, – как сговорились, честное слово!»

И проворчал сквозь зубы, сухо:

– Гм… нет, я… то есть я… да, моложав…

Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках стояло все что угодно. Были даже патентованные заграничные средства, и нужно ли добавлять, что я никогда не слыхал о них ничего.

– Леопольд Леопольдович выписал, – с гордостью доложила Пелагея Ивановна.

«Прямо гениальный человек был этот Леопольд», – подумал я и проникся уважением к таинственному, покинувшему тихое Мурье, Леопольду.

Человеку, кроме огня, нужно еще освоиться. Петух был давно мною съеден, сенник для меня набит Егорычем, покрыт простыней, горела лампа в кабинете в моей резиденции. Я сидел и, как зачарованный, глядел на третье достижение легендарного Леопольда: шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около тридцати томов. А терапия! Накожные чудные атласы!

Надвигался вечер, и я осваивался.

«Я ни в чем не виноват, – думал я упорно и мучительно, – у меня есть диплом, я имею пятнадцать пятерок. Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет. Они улыбались и говорили: „Освоитесь“. Вот тебе и освоитесь. А если грыжу привезут? Объясните, как я с ней освоюсь? И в особенности, каково будет себя чувствовать больной с грыжей у меня под руками? Освоится он на том свете (тут у меня холод по позвоночнику)…

А гнойный аппендицит? Га! А дифтерийный круп у деревенских ребят? Когда трахеотомия показана? Да и без трахеотомии будет мне не очень хорошо… А… а… роды! Роды-то забыл! Неправильные положения. Что ж я буду делать? А? Какой я легкомысленный человек! Нужно было отказаться от этого

участка. Нужно было. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда».

В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда поравнялся с лампой, увидал, как в безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне.

«Я похож на Лжедмитрия», – вдруг глупо подумал я и опять уселся за стол.

Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уж больше мои нервы не выдерживали созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и даже создавать некоторые планы.

Так-с… Прием, они говорят, сейчас ничтожный. В деревнях мнут лен, бездорожье… «Тут тебе грыжу и привезут, – бухнул суровый голос в мозгу, – потому что по бездорожью человек с насморком (нетрудная болезнь) не поедет, а грыжу притащат, будь покоен, дорогой коллега доктор».

Голос был неглуп, не правда ли? Я вздрогнул.

«Молчи, – сказал я голосу, – не обязательно грыжа. Что за неврастения? Взялся за гуж, не говори, что не дюж».

«Назвался груздем, полезай в кузов», – ехидно отозвался голос.

Так-с… со справочником я расставаться не буду… Если что выписать, можно, пока руки моешь, обдумать. Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге для записей больных. Буду выписывать полезные, но нетрудные рецепты. Ну, например, natrii salicilici 0,5 по одному порошку три раза в день…

«Соду можно выписать!» – явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник.

При чем тут сода? Я и ипекакуанку выпишу инфузум… на 180. Или на двести. Позвольте.

И тут же, хотя никто не требовал от меня в одиночестве у лампы ипекакуанки, я малодушно перелистал рецептурный справочник, проверил ипекакуанку, а попутно прочитал машинально и о том, что существует на свете какой-то «инсипин». Он не кто иной, как «сульфат эфира хининдигликолевой кислоты»… Оказывается, вкуса хинина не имеет! Но зачем он? И как его выписать? Он что – порошок? Черт его возьми!

«Инсипин инсипином, а как же все-таки с грыжей будет?» – упорно приставал страх в виде голоса.

«В ванну посажу, – остервенело защищался я, – в ванну. И попробую вправить»

«Ущемленная, мой ангел! Какие тут, к черту, ванны! Ущемленная, – демонским голосом пел страх. – Резать надо…»

Тут я сдался и чуть не заплакал. И моление тьме за окном послал: все, что угодно, только не ущемленную грыжу.

А усталость напевала:

«Ложись ты спать, злосчастный эскулап. Выспишься, а утром будет видно. Успокойся, юный неврастеник. Гляди – тьма за окнами покойна, спят стынущие поля, нет никакой грыжи. А утром будет видно. Освоишься… Спи… Брось атлас… Все равно ни пса сейчас не разберешь. Грыжевое кольцо…»

Как он влетел, я даже не сообразил. Помнится, болт на двери загремел, Аксинья что-то пискнула. Да еще за окнами проскрипела телега.

Он без шапки, в расстегнутом полушубке, со свалявшейся бородкой, с безумными глазами.

Он перекрестился, и повалился на колени, и бухнул лбом в пол. Это мне.

«Я пропал», – тоскливо подумал я.

– Что вы, что вы, что вы! – забормотал я и потянул за серый рукав.

Лицо его перекосило, и он, захлебываясь, стал бормотать в ответ прыгающие слова:

– Господин доктор… господин… единственная, единственная… единственная! – выкрикнул он вдруг по-юношески звонко, так что дрогнул ламповый абажур. – Ах ты, господи… Ах… – Он в тоске заломил руки и опять забухал лбом в половицы, как будто хотел разбить его. – За что? За что наказанье?.. Чем прогневали?

– Что? Что случилось?! – выкрикнул я, чувствуя, что у меня холодеет лицо.

Он вскочил на ноги, метнулся и прошептал так:

– Господин доктор… что хотите… денег дам… Деньги берите, какие хотите. Какие хотите. Продукты будем доставлять… Только чтоб не померла. Только чтоб не померла. Калекой останется – пущай. Пущай! – кричал он в потолок. – Хватит прокормить, хватит.

Бледное лицо Аксиньи висело в черном квадрате двери. Тоска обвилась вокруг моего сердца.

– Что?.. Что? Говорите! – выкрикнул я болезненно.

Он стих и шепотом, как будто по секрету, сказал мне, и глаза его стали бездонны:

– В мялку попала…

– В мялку… в мялку?.. – переспросил я. – Что это такое?

– Лен, лен мяли… господин доктор… – шепотом пояснила Аксинья, – мялка-то… лен мнут…

«Вот начало. Вот. О, зачем я приехал!» – в ужасе подумал я.

– Кто?

– Дочка моя, – ответил он шепотом, а потом крикнул: –

Помогите! – И вновь повалился, и стриженые его в скобку волосы метнулись на его глаза.

* * *

Лампа «молния» с покрившимся жестяным абажуром горела жарко, двумя рогами. На операционном столе, на белой, свежепахнущей, клеенке я ее увидел, и грыжа померкла у меня в памяти.

Светлые, чуть рыжеватые волосы свешивались со стола сбившимся засохшим колтуном. Коса была гигантская, и конец ее касался пола. Ситцевая юбка была изорвана, и кровь на ней разного цвета – пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет «молнии» показался мне желтым и живым, а ее лицо бумажным, белым, нос заострен.

На белом лице у нее, как гипсовая, неподвижная, потухала действительно редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо.

В операционной секунд десять было полное молчание, но за закрытыми дверями слышно было, как глухо выкрикивал кто-то и бухал, все бухал головой.

«Обезумел, – думал я, – а сиделки, значит, его отпаивают… Почему такая красавица? Хотя у него правильные черты лица… Видно, мать была красивая… Он вдовец…»

– Он вдовец? – машинально шепнул я.

– Вдовец, – тихо ответила Пелагея Ивановна.

Тут Демьян Лукич резким, как бы злобным движением от края до верху разорвал юбку и сразу ее обнажил. Я глянул, и то, что я увидал, превысило мои ожидания. Левой ноги, собственно, не было. Начиная от раздробленного колена, лежала кровавая рвань, красные мятые мышцы и остро во все стороны торчали белые раздавленные кости. Правая была переломлена в голени так, что обе кости концами выскочили наружу, пробив кожу. От этого ступня ее безжизненно, как бы отдельно, лежала, повернувшись набок.

– Да, – тихо молвил фельдшер и ничего больше не прибавил.

Тут я вышел из оцепенения и взялся за ее пульс. В холодной руке его не было. Лишь после нескольких секунд нашел я чуть заметную редкую волну. Она прошла… потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синеющие крылья носа и белые губы… Хотел уже сказать: конец… по счастью, удержался… Опять прошла ниточкой волна.

«Вот как потухает изорванный человек, – подумал я, – тут уж

ничего не сделаешь…»

Но вдруг сурово сказал, не узнавая своего голоса:

– Камфары.

Тут Анна Николаевна склонилась к моему уху и шепнула:

– Зачем, доктор? Не мучайте. Зачем еще колоть? Сейчас отойдет… Не спасете.

Я злобно и мрачно оглянулся на нее и сказал:

– Попрошу камфары…

Так, что Анна Николаевна с вспыхнувшим, обиженным лицом сейчас же бросилась к столику и сломала ампулу.

Фельдшер тоже, видимо, не одобрял камфары. Тем не менее он ловко и быстро взялся за шприц, и желтое масло ушло под кожу плеча.

«Умирай. Умирай скорее, – подумал я, – умирай. А то что же я буду делать с тобой?»

– Сейчас помрет, – как бы угадав мою мысль, шепнул фельдшер. Он покосился на простыню, но, видимо, раздумал: жаль было кровавить простыню. Однако через несколько секунд ее пришлось прикрыть. Она лежала, как труп, но она не умерла. В голове моей вдруг стало светло, как под стеклянным потолком нашего далекого анатомического театра.

– Камфары еще, – хрипло сказал я.

И опять покорно фельдшер впрыснул масло.

«Неужели же не умрет?.. – отчаянно подумал я. – Неужели придется…»

Все светлело в мозгу, и вдруг без всяких учебников, без советов, без помощи я сообразил – уверенность, что сообразил, была железной, – что сейчас мне придется в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию. И человек этот умрет под ножом. Ах, под ножом умрет. Ведь у нее же нет крови! За десять верст вытекло все через раздробленные ноги, и неизвестно даже, чувствует ли она что-нибудь сейчас, слышит ли. Она молчит. Ах, почему она не умирает? Что скажет мне безумный отец?

– Готовьте ампутацию, – сказал я фельдшеру чужим голосом.

Акушерка посмотрела на меня дико, но у фельдшера мелькнула искра сочувствия в глазах, и он заметался у инструментов. Под руками у него взревел примус…

Прошло четверть часа. С суеверным ужасом я вглядывался в угасший глаз, приподымая холодное веко. Ничего не постигаю… Как может жить полутруп? Капли пота неудержимо бежали у меня по лбу из-под белого колпака, и марлей Пелагея Ивановна вытирала соленый пот. В остатках крови в жилах у девушки теперь плавал и кофеин. Нужно было его впрыскивать или нет?

На бедрах Анна Николаевна, чуть-чуть касаясь, гладила бугры, набухшие от физиологического раствора. А девушка жила.

Я взял нож, стараясь подражать (раз в жизни в университете я видел ампутацию) кому-то… Я умолял теперь судьбу, чтобы уж в ближайшие полчаса она не померла… «Пусть умрет в палате, когда я окончу операцию…»

За меня работал только мой здравый смысл, подхлестнутый необычайностью обстановки. Я кругообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни одной росинки крови. «Сосуды начнут кровить, что я буду делать?» – думал я и, как волк, косился на груду торзионных пинцетов. Я срезал громадный кус женского мяса и один из сосудов – он был в виде беловатой трубочки, – но ни капли крови не выступило из него. Я зажал его торзионным пинцетом и двинулся дальше. Я натыкал эти торзионные пинцеты всюду, где предполагал сосуды… «Артериа… артериа… как, черт, ее?..» В операционной стало похоже на клинику. Торзионные пинцеты висели гроздьями. Их марлей оттянули кверху вместе с мясом, и я стал мелкозубой ослепительной пилой пилить круглую кость. «Почему не умирает?.. Это удивительно… ох, как живуч человек!»

И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось то, что было девичьей ногой. Лохмы мяса, кости! Все это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культей. «Еще, еще немножко… Не умирай, – вдохновенно думал я, – потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни».

Потом вязали лигатурами, потом, щелкая колленом, я стал редкими швами зашивать кожу… но остановился, осененный, сообразил… оставил сток… вложил марлевый тампон… Пот застилал мне глаза, и мне казалось, будто я в бане…

Отдулся. Тяжело посмотрел на культю, на восковое лицо. Спросил:

– Жива?

– Жива… – как беззвучное эхо, отозвались сразу и фельдшер и Анна Николаевна.

– Еще минуточку проживет, – одними губами, без звука в ухо сказал мне фельдшер. Потом запнулся и деликатно посоветовал: – Вторую ногу, может, и не трогать, доктор. Марлей, знаете ли, замотаем… а то не дотянет до палаты… А? Все лучше, если не в операционной скончается.

– Гипс давайте, – сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой.

Весь пол был заляпан белыми пятнами, все мы были в поту.

Полутруп лежал неподвижно. Правая нога была забинтована гипсом, и зияло на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома.

– Живет… – удивленно хрипнул фельдшер.

Затем ее стали подымать, и под простыней был виден гигантский провал – треть ее тела мы оставили в операционной.

Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки, и я видел, как по стене прокралась растрепанная мужская фигура и издала сухой вопль. Но его удалили. И стихло.

В операционной я мыл окровавленные по локоть руки.

– Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций? – вдруг спросила Анна Николаевна. – Очень, очень хорошо… Не хуже Леопольда…

В ее устах слово «Леопольд» неизменно звучало, как «Дуайен».

Я исподлобья взглянул на лица. И у всех – и у Демьяна Лукича, и у Пелагеи Ивановны – заметил в глазах уважение и удивление.

– Кхм… я… Я только два раза делал, видите ли…

Зачем я солгал? Теперь мне это непонятно.

В больнице стихло. Совсем.

– Когда умрет, обязательно пришлите за мной, – вполголоса приказал я фельдшеру, и он почему-то вместо «хорошо» ответил почтительно:

– Слушаю-с…

Через несколько минут я был у зеленой лампы в кабинете докторской квартиры. Дом молчал.

Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле.

«Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца, и я, видите ли, постарел как-то… Складка над переносицей… Сейчас постучат… Скажут: „умерла…“»

Да, пойду и погляжу в последний раз… Сейчас раздастся стук…

В дверь постучали. Это было через два с половиной месяца. В окне сиял один из первых зимних дней.

Вошел он; я его разглядел только тогда. Да, действительно черты лица правильные. Лет сорока пяти. Глаза искрятся.

Затем шелест… На двух костылях впрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой.

Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой краской.

– В Москве… в Москве… – И я стал писать адрес. – Там устроят протез, искусственную ногу.

– Руку поцелуй, – вдруг неожиданно сказал отец.

Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос.

Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом. Так вот что она прятала под подушку на осмотрах. То-то, я помню, нитки лежали на столике.

– Не возьму, – сурово сказал я и даже головой замотал. Но у нее стало такое лицо, такие глаза, что я взял…

И много лет оно висело у меня в спальне в Мурьеве, потом странствовало со мной. Наконец обветшало, стерлось, продырявилось и исчезло, как стираются и исчезают воспоминания.

Вьюга

То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.

Вся эта история началась с того, что, по словам всезнающей Аксиньи, конторщик Пальчиков, проживающий в Шалометьеве, влюбился в дочь агронома. Любовь была пламенная, иссушающая беднягино сердце. Он съездил в уездный город Грачевку и заказал себе костюм. Вышел этот костюм ослепительным, и очень возможно, что серые полоски на конторских штанах решили судьбу несчастного человека. Дочка агронома согласилась стать его женой.

Я же – врач Н-ской больницы, участка, такой-то губернии, после того как отнял ногу у девушки, попавшей в мялку для льна, прославился настолько, что под тяжестью своей славы чуть не погиб. Ко мне на прием по накатанному санному пути стали ездить сто человек крестьян в день. Я перестал обедать. Арифметика – жестокая наука. Предположим, что на каждого из ста моих пациентов я тратил только по пять минут… пять! Пятьсот минут – восемь часов двадцать минут. Подряд, заметьте. И, кроме того, у меня было стационарное отделение на тридцать человек. И, кроме того, я ведь делал операции.

Одним словом, возвращаясь из больницы в девять часов вечера, я не хотел ни есть, ни пить, ни спать. Ничего не хотел, кроме того, чтобы никто не приехал звать меня на роды. И в течение двух недель по санному пути меня ночью увозили раз пять.

Темная влажность появилась у меня в глазах, а над переносицей легла вертикальная складка, как червяк. Ночью я видел в зыбком тумане неудачные операции, обнаженные ребра, а руки свои в человеческой крови и просыпался, липкий и прохладный, несмотря на жаркую печку-голландку.

На обходе я шел стремительной поступью, за мною мело фельдшера, фельдшерицу и двух сиделок. Останавливаясь у постели, на которой, тая в жару и жалобно дыша, болел человек, я выжимал из своего мозга все, что в нем было. Пальцы мои шарили по сухой, пылающей коже, я смотрел на зрачки, постукивал по ребрам, слушал, как таинственно бьет в глубине сердце, и нес в себе одну мысль – как его спасти? И этого – спасти. И этого! Всех.

Шел бой. Каждый день он начинался утром при бледном

свете снега, а кончался при желтом мигании пылкой лампы «молнии».

«Чем это кончится, мне интересно было бы знать? – говорил я сам себе ночью. – Ведь этак будут ездить на санях и в январе, и в феврале, и в марте».

Я написал в Грачевку и вежливо напомнил о том, что на Н-ском участке полагается и второй врач.

Письмо на дровнях уехало по ровному снежному океану за сорок верст. Через три дня пришел ответ: писали, что, конечно, конечно… Обязательно… но только не сейчас… никто пока не едет…

Заключали письмо некоторые приятные отзывы о моей работе и пожелания дальнейших успехов.

Окрыленный ими, я стал тампонировать, впрыскивать дифтерийную сыворотку, вскрывать чудовищных размеров гнойники, накладывать гипсовые повязки…

Во вторник приехало не сто, а сто одиннадцать человек. Прием я кончил в девять часов вечера. Заснул я, стараясь угадать, сколько будет завтра – в среду? Мне приснилось, что приехало девятьсот человек.

Утро заглянуло в окошко спальни как-то особенно бело. Я открыл глаза, не понимая, что меня разбудило. Потом сообразил – стук.

– Доктор, – узнал голос акушерки Пелагеи Ивановны, – вы проснулись?

– Угу, – ответил я диким голосом спросонья.

– Я пришла вам сказать, чтоб вы не спешили в больницу. Два человека всего приехали.

– Вы – что? Шутите?

– Честное слово. Вьюга, доктор, вьюга, – повторила она радостно в замочную скважину. – А у этих зубы кариозные. Демьян Лукич вырвет.

– Да ну… – Я даже с постели соскочил неизвестно почему.

Замечательный выдался денек. Побывав на обходе, я целый день ходил по своим апартаментам (квартира врачу была отведена в шесть комнат, и почему-то двухэтажная – три комнаты вверху, а кухня и три комнаты внизу), свистел из опер, курил, барабанил в окна… А за окнами творилось что-то, мною еще никогда не виданное. Неба не было, земли тоже. Вертело и крутило белым и косо и криво, вдоль и поперек, словно черт зубным порошком баловался.

В полдень отдан был мною Аксинье – исполняющей обязанности кухарки и уборщицы при докторской квартире приказ: в трех ведрах и в котле вскипятить воды. Я месяц не

мылся.

Мною с Аксиньей было из кладовки извлечено неимоверных размеров корыто. Его установили на полу в кухне (о ванне, конечно, и разговора в Н-ске быть не могло. Были ванны только в самой больнице – и те испорченные).

Около двух часов дня вертящаяся сетка за окном значительно поредела, а я сидел в корыте голый и с намыленной головой.

– Эт-то я понимаю… – сладостно бормотал я, выплескивая себе на спину жгучую воду, – эт-то я понимаю. А потом мы, знаете ли, пообедаем, а потом заснем. А если я высплюсь, то пусть завтра хоть полтораста человек приезжает. Какие новости, Аксинья?

Аксинья сидела за дверью в ожидании, пока кончится банная операция.

– Конторщик в Шалометьевом имении женится, – отвечала Аксинья.

– Да ну! Согласилась?

– Ей-богу! Влюбле-ен… – пела Аксинья, погромыхивая посудой.

– Невеста-то красивая?

– Первая красавица! Блондинка, тоненькая…

– Скажи пожалуйста!..

И в это время грохнуло в дверь. Я хмуро облил себя водой и стал прислушиваться.

– Доктор-то купается… – выпевала Аксинья.

– Бур… бур… – бурчал бас.

– Записка вам, доктор, – пискнула Аксинья в скважину.

– Протяни в дверь.

Я вылез из корыта, пожимаясь и негодуя на судьбу, и взял из рук Аксиньи сероватый конвертик.

– Ну, дудки. Я не поеду из корыта. Я ведь тоже человек, – не очень уверенно сказал я себе и в корыте распечатал записку.

«Уважаемый коллега (большой восклицательный знак). Умол (зачеркнуто) Прошу убедительно приехать срочно. У женщины после удара головой кровотечение из полост (зачеркнуто) из носа и рта. Без сознания. Справиться не могу. Убедительно прошу. Лошади отличные. Пульс плох. Камфара есть. Доктор (подпись неразборчива)».

«Мне в жизни не везет», – тоскливо подумал я, глядя на жаркие дрова в печке.

– Мужчина записку привез?

– Мужчина.

– Сюда пусть войдет.

Он вошел и показался мне древним римлянином вследствие

блистательной каски, надетой поверх ушастой шапочки. Волчья шуба облекала его, и струйка холода ударила в меня.

– Почему вы в каске? – спросил я, прикрывая свое недомытое тело простыней.

– Пожарный я из Шалометьева. Там у нас пожарная команда… – ответил римлянин.

– Это какой доктор пишет?

– В гости к нашему агроному приехал. Молодой врач. Несчастье у нас, вот уж несчастье…

– Какая женщина?

– Невеста конторщикова.

Аксинья за дверью охнула.

– Что случилось? (Слышно было, как тело Аксиньи прилипло к двери.)

– Вчера помолвка была, а после помолвки-то конторщик покатать ее захотел в саночках. Рысачка запряг, усадил ее, да в ворота. А рысачок-то с места как взял, невесту-то мотнуло да лбом об косяк. Так она и вылетела. Такое несчастье, что выразить невозможно… За конторщиком ходят, чтоб не удавился. Обезумел.

– Купаюсь я, – жалобно сказал я, – ее сюда-то чего же не привезли? – И при этом я облил водой голову, и мыло ушло в корыто.

– Немыслимо, уважаемый гражданин доктор, – прочувственно сказал пожарный и руки молитвенно сложил, – никакой возможности. Помрет девушка.

– Как же мы поедем-то? Вьюга!

– Утихло. Что вы-с. Совершенно утихло. Лошади резвые, гуськом. В час долетим…

Я кротко простонал и вылез из корыта. Два ведра вылил на себя с остервенением. Потом, сидя на корточках перед пастью печки, голову засовывал в нее, чтобы хоть немного просушить.

«Воспаление легких у меня, конечно, получится. Крупозное, после такой поездки. И, главное, что я с нею буду делать? Этот врач, уж по записке видно, еще менее, чем я, опытен. Я ничего не знаю, только практически за полгода нахватался, а он и того менее. Видно, только что из университета. А меня принимает за опытного…»

Размышляя таким образом, я и не заметил, как оделся. Одевание было непростое: брюки и блуза, валенки, сверх блузы кожаная куртка, потом пальто, а сверху баранья шуба, шапка, сумка, в ней кофеин, камфара, морфий, адреналин, торзионные пинцеты, стерильный материал, шприц, зонд, браунинг, папиросы, спички, часы, стетоскоп.

Показалось вовсе не страшно, хоть и темнело, уже день таял, когда мы выехали за околицу. Мело как будто полегче. Косо, в одном направлении, в правую щеку. Пожарный горой заслонял от меня круп первой лошади. Взяли лошади действительно бодро, вытянулись, и саночки пошли метать по ухабам. Я завалился в них, сразу согрелся, подумал о крупозном воспалении, о том, что у девушки, может быть, треснула кость черепа изнутри, осколок в мозг вонзился…

– Пожарные лошади? – спросил я сквозь бараний воротник.

– Угу… гу… – пробурчал возница, не оборачиваясь.

– А доктор что ей делал?

– Да он… гу, гу… он, вишь ты, на венерические болезни выучился… угу… гу…

– Гу… гу… – загремела в перелеске вьюга, потом свистнула сбоку, сыпанула… Меня начало качать, качало, качало… пока я не оказался в Сандуновских банях в Москве. И прямо в шубе, в раздевальне, и испарина покрыла меня. Затем загорелся факел, напустили холоду, я открыл глаза, увидел, что сияет кровавый шлем, подумал, что пожар… затем очнулся и понял, что меня привезли. Я у порога белого здания с колоннами, видимо, времен Николая I. Глубокая тьма кругом, а встретили меня пожарные, и пламя танцует у них над головами. Тут же я извлек из щели шубы часы, увидел – пять. Ехали мы, стало быть, не час, а два с половиной.

– Лошадей мне сейчас же обратно дайте, – сказал я.

– Слушаю, – ответил возница.

Полусонный и мокрый, как в компрессе, под кожаной курткой, я вошел в сени. Сбоку ударил свет лампы, полоса легла на крашеный пол. И тут выбежал светловолосый юный человек с затравленными глазами и в брюках со свежезаутюженной складкой. Белый галстук с черными горошинами сбился у него на сторону, манишка выскочила горбом, но пиджак был с иголочки, новый, как бы с металлическими складками.

Человек взмахнул руками, вцепился в мою шубу, потряс меня, прильнул и стал тихонько выкрикивать:

– Голубчик мой… доктор… скорее… умирает она. Я убийца. – Он глянул куда-то вбок, сурово и черно раскрыл глаза, кому-то сказал: – Убийца я, вот что.

Потом зарыдал, ухватился за жиденькие волосы, рванул, и я увидел, что он по-настоящему рвет пряди, наматывая на пальцы.

– Перестаньте, – сказал я ему и стиснул руку.

Кто-то повлек его. Выбежали какие-то женщины.

Шубу кто-то с меня снял, повели по праздничным половичкам и привели к белой кровати. Навстречу мне поднялся со стула

молоденький врач. Глаза его были замучены и растерянны. На миг в них мелькнуло удивление, что я так же молод, как и он сам. Вообще мы были похожи на два портрета одного и того же лица, да и одного года. Но потом он обрадовался мне до того, что даже захлебнулся.

– Как я рад… коллега… вот… видите ли, пульс падает. Я, собственно, венеролог. Страшно рад, что вы приехали…

На клоке марли на столе лежал шприц и несколько ампул с желтым маслом. Плач конторщика донесся из-за двери, дверь прикрыли, фигура женщины в белом выросла у меня за плечами. В спальне был полумрак, лампу сбоку занавесили зеленым клоком. В зеленоватой тени лежало на подушке лицо бумажного цвета. Светлые волосы прядями обвисли и разметались. Нос заострился, и ноздри были забиты розоватой от крови ватой.

– Пульс… – шепнул мне врач.

Я взял безжизненную руку, привычным уже жестом наложил пальцы и вздрогнул. Под пальцами задрожало мелко, часто, потом стало срываться, тянуться в нитку. У меня похолодело привычно под ложечкой, как всегда, когда я в упор видел смерть. Я ее ненавижу. Я успел обломать конец ампулы и насосать в свой шприц жирное масло. Но вколол его уже машинально, протолкнул под кожу девичьей руки напрасно.

Нижняя челюсть девушки задергалась, она словно давилась, потом обвисла, тело напряглось под одеялом, как бы замерло, потом ослабело. И последняя нитка пропала у меня под пальцами.

– Умерла, – сказал я на ухо врачу.

Белая фигура с седыми волосами повалилась на ровное одеяло, припала и затряслась.

– Тише, тише, – сказал я на ухо этой женщине в белом, а врач страдальчески покосился на дверь.

– Он меня замучил, – очень тихо сказал врач.

Мы с ним сделали так: плачущую мать оставили в спальне, никому ничего не сказали, увели конторщика в дальнюю комнату.

Там я ему сказал:

– Если вы не дадите себе впрыснуть лекарство, мы ничего не можем делать. Вы нас мучаете, работать мешаете!

Тогда он согласился; тихо плача, снял пиджак, мы откатили рукав его праздничной жениховской сорочки и впрыснули ему морфий. Врач ушел к умершей, якобы ей помогать, а я задержался возле конторщика. Морфий помог быстрее, чем я ожидал. Конторщик через четверть часа, все тише и бессвязнее жалуясь и плача, стал дремать, потом заплаканное лицо уложил на руки и заснул. Возни, плача, шуршания и заглушенных воплей он не

слышал.

– Послушайте, коллега, ехать опасно. Вы можете заблудиться, – говорил мне врач шепотом в передней. – Останьтесь, переночуйте…

– Нет, не могу. Во что бы то ни стало уеду. Мне обещали, что меня сейчас же обратно доставят.

– Да они-то доставят, только смотрите…

– У меня трое тифозных таких, что бросить нельзя. Я их ночью должен видеть.

– Ну, смотрите…

Он разбавил спирт водой, дал мне выпить, и я тут же в передней съел кусок ветчины. В животе потеплело, и тоска на сердце немного съежилась. Я в последний раз пришел в спальню, поглядел на мертвую, зашел к конторщику, оставил ампулу морфия врачу и, закутанный, ушел на крыльцо.

Там свистело, лошади понурились, их секло снегом. Факел метался.

– Дорогу-то вы знаете? – спросил я, кутая рот.

– Дорогу-то знаем, – очень печально ответил возница (шлема на нем уже не было), – а остаться бы вам переночевать…

Даже по ушам его шапки было видно, что он до смерти не хочет ехать.

– Надо остаться, – прибавил и второй, держащий разъяренный факел, – в поле нехорошо-с.

– Двенадцать верст… – угрюмо забурчал я, – доедем. У меня тяжелые больные… – И полез в санки.

Каюсь, я не добавил, что одна мысль остаться во флигеле, где беда, где я бессилен и бесполезен, казалась мне невыносимой.

Возница безнадежно плюхнулся на облучок, выровнялся, качнулся, и мы проскочили в ворота. Факел исчез, как провалился, или же потух. Однако через минуту меня заинтересовало другое. С трудом обернувшись, я увидел, что не только факела нет, но Шалометьево пропало со всеми строениями, как во сне. Меня это неприятно кольнуло.

– Однако это здорово… – не то подумал, не то забормотал я. Нос на минуту высунул и опять спрятал, до того нехорошо было. Весь мир свился в клубок, и его трепало во все стороны.

Проскочила мысль – а не вернуться ли? Но я ее отогнал, завалился поглубже в сено на дно саней, как в лодку, съежился, глаза закрыл. Тотчас выплыл зеленый лоскут на лампе и белое лицо. Голову вдруг осветило: «Это перелом основания черепа… Да, да, да… Ага-га… именно так!» Загорелась уверенность, что это правильный диагноз. Осенило. Ну, а к чему? Теперь не к чему, да и раньше не к чему было. Что с ним сделаешь! Какая ужасная

судьба! Как нелепо и страшно жить на свете! Что теперь будет в доме агронома? Даже подумать тошно и тоскливо! Потом себя стало жаль: жизнь моя какая трудная. Люди сейчас спят, печки натоплены, а я опять и вымыться не мог. Несет меня вьюга, как листок. Ну вот, я домой приеду, а меня, чего доброго, опять повезут куда-нибудь. Так и буду летать по вьюге. Я один, а больных-то тысячи… Вот воспаление легких схвачу и сам помру здесь… Так, разжалобив самого себя, я и провалился в тьму, но сколько времени в ней пробыл, не знаю. Ни в какие бани я не попал, а стало мне холодно. И все холоднее и холоднее.

Когда я открыл глаза, увидел черную спину, а потом уже сообразил, что мы не едем, а стоим.

– Приехали? – спросил я, мутно тараща глаза.

Черный возница тоскливо шевельнулся, вдруг слез, мне показалось, что его вертит во все стороны… и заговорил без всякой почтительности:

– Приехали… Людей-то нужно было послушать… Ведь что же это такое! И себя погубим и лошадей…

– Неужели дорогу потеряли? – У меня похолодела спина.

– Какая тут дорога, – отозвался возница расстроенным голосом, – нам теперь весь белый свет – дорога. Пропали ни за грош… Четыре часа едем, а куда… Ведь это что делается…

Четыре часа. Я стал копошиться, нащупал часы, вынул спички. Зачем? Это было ни к чему, ни одна спичка не дала вспышки. Чиркнешь, сверкнет, – и мгновенно огонь слизнет.

– Говорю, часа четыре, – похоронно молвил возница, – что теперь делать?

– Где же мы теперь?

Вопрос был настолько глуп, что возница не счел нужным на него отвечать. Он поворачивался в разные стороны, но мне временами казалось, что он стоит неподвижно, а меня в санях вертит. Я выкарабкался и сразу узнал, что снегу мне до колена у полоза. Задняя лошадь завязла по брюхо в сугробе. Грива ее свисала, как у простоволосой женщины.

– Сами стали?

– Сами. Замучились животные…

Я вдруг вспомнил кой-какие рассказы и почему-то почувствовал злобу на Льва Толстого.

«Ему хорошо было в Ясной Поляне, – думал я, – его небось не возили к умирающим…»

Пожарного и меня стало жаль. Потом я опять пережил вспышку дикого страха. Но задавил его в груди.

– Это – малодушие… – пробормотал я сквозь зубы.

И бурная энергия возникла во мне.

– Вот что, дядя, – заговорил я, чувствуя, что у меня стынут зубы, – унынию тут предаваться нельзя, а то мы действительно пропадем к чертям. Они немножко постояли, отдохнули, надо дальше двигаться. Вы идите, берите переднюю лошадь под уздцы, а я буду править. Надо вылезать, а то нас заметет.

Уши шапки выглядели отчаянно, но все же возница полез вперед. Ковыляя и проваливаясь, он добрался до первой лошади. Наш выезд показался мне бесконечно длинным. Фигуру возницы размыло в глазах, в глаза мне мело сухим вьюжным снегом.

– Но-о, – застонал возница.

– Но! Но! – закричал я, захлопав вожжами.

Лошади тронулись помаленьку, пошли месить. Сани качало, как на волне. Возница то вырастал, то уменьшался, выбирался вперед.

Четверть часа приблизительно мы двигались так, пока наконец я не почувствовал, что сани заскрипели как будто ровней. Радость хлынула в меня, когда я увидел, как замелькали задние копыта лошади.

– Мелко, дорога! – закричал я.

– Го… го… – отозвался возница. Он приковылял ко мне и сразу вырос.

– Кажись, дорога, – радостно, даже с трелью в голосе отозвался пожарный. – Лишь бы опять не сбиться… Авось…

Мы поменялись местами. Лошади пошли бодрее. Вьюга точно сжималась, стала ослабевать, как мне показалось. Но вверху и по сторонам ничего не было, кроме мути. Я уж не надеялся приехать именно в больницу. Мне хотелось приехать куда-нибудь. Ведь ведет же дорога к жилью.

Лошади вдруг дернули и заработали ногами оживленнее. Я обрадовался, не зная еще причины этого.

– Жилье, может, почувствовали? – спросил я.

Возница мне не ответил. Я приподнялся в санях, стал всматриваться. Странный звук, тоскливый и злобный, возник где-то во мгле, но быстро потух. Почему-то неприятно мне стало и вспомнился конторщик и как он тонко скулил, положив голову на руки. По правой руке я вдруг различил темную точку, она выросла в черную кошку, потом еще подросла и приблизилась. Пожарный вдруг обернулся ко мне, причем я увидел, что челюсть у него прыгает, и спросил:

– Видели, гражданин доктор?..

Одна лошадь метнулась вправо, другая влево, пожарный навалился на секунду мне на колени, охнул, выправился, стал опираться, рвать вожжи. Лошади всхрапнули и понесли. Они взметывали комьями снег, швыряли его, шли неровно, дрожали.

И у меня прошла дрожь несколько раз по телу. Оправясь, я залез за пазуху, вынул браунинг и проклял себя за то, что забыл дома вторую обойму. Нет, если уж я не остался ночевать, то факел почему я не взял с собой?! Мысленно я увидел короткое сообщение в газете о себе и злосчастном пожарном.

Кошка выросла в собаку и покатилась невдалеке от саней. Я обернулся и увидел совсем близко за санями вторую четвероногую тварь. Могу поклясться, что у нее были острые уши и шла она за санями легко, как по паркету. Что-то грозное и наглое было в ее стремлении. «Стая или их только две?» – думалось мне, и при слове «стая» варом облило меня под шубой и пальцы на ногах перестали стыть.

– Держись покрепче и лошадей придерживай, я сейчас выстрелю, – выговорил я голосом, но не своим, а неизвестным мне.

Возница только охнул в ответ и голову втянул в плечи. Мне сверкнуло в глаза и оглушительно ударило. Потом второй раз и третий раз. Не помню, сколько минут трепало меня на дне саней. Я слышал дикий, визгливый храп лошадей, сжимал браунинг, головой ударился обо что-то, старался вынырнуть из сена и в смертельном страхе думал, что у меня на груди вдруг окажется громадное жилистое тело. Видел уже мысленно свои рваные кишки…

В это время возница завыл:

– Ого… го… вон он… вон… Господи, выноси, выноси…

Я наконец справился с тяжелой овчиной, выпростал руки, поднялся. Ни сзади, ни с боков не было черных зверей. Мело очень редко и прилично, и в редкой пелене мерцал очаровательнейший глаз, который я бы узнал из тысячи, который узнаю и теперь, – мерцал фонарь моей больницы. Темное громоздилось сзади него. «Куда красивее дворца…» – промыслил я и вдруг в экстазе еще два раза выпустил пули из браунинга назад, туда, где пропали волки.

Пожарный стоял посредине лестницы, ведущей из нижнего отдела замечательной врачебной квартиры, я – наверху этой лестницы, Аксинья в тулупе – внизу.

– Озолотите меня, – заговорил возница, – чтоб я в другой раз… – Он не договорил, залпом выпил разведенный спирт и крякнул страшно, обернулся к Аксинье и прибавил, растопырив руки, сколько позволяло его устройство: – Во величиной…

– Померла? Не отстояли? – спросила Аксинья у меня.

– Померла, – ответил я равнодушно.

Через четверть часа стихло. Внизу потух свет. Я остался наверху один. Почему-то судорожно усмехнулся, расстегнул

пуговицы на блузе, потом их застегнул, пошел к книжной полке, вынул том хирургии, хотел посмотреть что-то о переломах основания черепа, бросил книгу.

Когда разделся и влез под одеяло, дрожь поколотила меня с полминуты, затем отпустила, и тепло пошло по всему телу.

– Озолотите меня, – задремывая, пробурчал я, – но больше я не по…

– Поедешь… ан, поедешь… – насмешливо засвистала вьюга.

Она с громом проехалась по крыше. Потом пропела в трубе, вылетела из нее, прошуршала за окном, пропала.

– Поедете… по-е-де-те… – стучали часы, но глуше, глуше.

И ничего. Тишина. Сон.

Стальное горло

Итак, я остался один. Вокруг меня – ноябрьская тьма с вертящимся снегом, дом завалило, в трубах завыло. Все двадцать четыре года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах. Оказалось: она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны, лампа под синим абажуром отражалась в черном окне, и я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке от меня. Мечтал об уездном городе – он находился в сорока верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, четыре врача, с ними можно было посоветоваться, во всяком случае не так страшно. Но убежать не было никакой возможности, да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете…

«…Ну, а если привезут женщину и у нее неправильные роды? Или, предположим, больного, а у него ущемленная грыжа? Что я буду делать? Посоветуйте, будьте добры. Сорок восемь дней тому назад я кончил факультет с отличием, но отличие само по себе, а грыжа сама по себе. Один раз я видел, как профессор делал операцию ущемленной грыжи. Он делал, а я сидел в амфитеатре. И только…»

Холодный пот неоднократно стекал у меня вдоль позвоночного столба при мысли о грыже. Каждый вечер я сидел в одной и той же позе, напившись чаю: под левой рукой у меня лежали все руководства по оперативному акушерству, сверху маленький Додерляйн. А справа десять различных томов по оперативной хирургии, с рисунками. Я кряхтел, курил, пил черный холодный чай…

И вот я заснул; отлично помню эту ночь – 29 ноября, я проснулся от грохота в двери. Минут пять спустя я, надевая брюки, не сводил молящих глаз с божественных книг оперативной хирургии. Я слышал скрип полозьев во дворе: уши мои стали необычайно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем грыжа, чем поперечное положение младенца: привезли ко мне в Никольский пункт-больницу в одиннадцать часов ночи девочку. Сиделка глухо сказала:

– Слабая девочка, помирает… Пожалуйте, доктор, в больницу…

Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена, и весь состав моих помощников ждал меня уже одетый и в халатах. Это были: фельдшер Демьян

Лукич, молодой еще, но очень способный человек, и две опытные акушерки – Анна Николаевна и Пелагея Ивановна. Я же был всего лишь двадцатичетырехлетним врачом, два месяца назад выпущенным и назначенным заведовать Никольской больницей.

Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не стаял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала сверток, я увидел девочку лет трех. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз, забыл все решительно из-за красоты девочки. С чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей – волосы сами от природы вьются в крупные кольца цвета спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз, и я понял, что это страх, – ей нечем было дышать. «Она умрет через час», – подумал я совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось…

Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании, жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я тут же сообразил, в чем дело, и первый мой диагноз поставил совершенно правильно, и главное, одновременно с акушерками – они-то были опытны: «У девочки дифтерийный круп, горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо…»

– Сколько дней девочка больна? – спросил я среди насторожившегося молчания моего персонала.

– Пятый день, пятый, – сказала мать и сухими глазами глубоко посмотрела на меня.

– Дифтерийный круп, – сквозь зубы сказал я фельдшеру, а матери сказал: – Ты о чем же думала? О чем думала?

И в это время раздался сзади меня плаксивый голос:

– Пятый, батюшка, пятый!

Я обернулся и увидел бесшумную, круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если б бабок этих вообще на свете не было», – подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал:

– Ты, бабка, замолчи, мешаешь – Матери же повторил: – О чем ты думала? Пять дней? А?

Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мною на колени.

– Дай ей капель, – сказала она и стукнулась лбом в пол, – удавлюсь я, если она помрет.

– Встань сию же минуточку, – ответил я, – а то я с тобой и

разговаривать не стану.

Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девчонку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал:

– Так они все делают. Народ. – Усы у него при этом скривились набок.

– Что ж, значит, помрет она? – глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью, спросила мать.

– Помрет, – негромко и твердо сказал я.

Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом:

– Дай ей, помоги! Капель дай!

Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд.

– Каких же я ей капель дам? Посоветуй. Девочка задыхается, горло ей уже забило. Ты пять дней морила девчонку в пятнадцати верстах от меня. А теперь что прикажешь делать?

– Тебе лучше знать, батюшка, – заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом, и я ее сразу возненавидел.

– Замолчи! – сказал ей. И, обратившись к фельдшеру, приказал взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее не выходил уже голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть при свете лампы-«молнии» девочке в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочущее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо, но я почему-то не испугался за глаза, занятый своей мыслью.

– Вот что, – сказал я, удивляясь собственному спокойствию, – дело такое. Поздно. Девочка умирает. И ничто ей не поможет, кроме одного – операции.

И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. «А если они согласятся?» – мелькнула у меня мысль.

– Как это? – спросила мать.

– Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить, дать девочке возможность дышать, тогда, может быть, спасем ее, – объяснил я.

Мать посмотрела на меня, как на безумного, и девочку от меня заслонила руками, а бабка снова забубнила:

– Что ты! Не давай резать! Что ты? Горло-то?!

– Уйди, бабка! – с ненавистью сказал я ей. – Камфару впрысните, – приказал я фельдшеру.

Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но мы ей объяснили, что это не страшно.

– Может, это ей поможет? – спросила мать.

– Нисколько не поможет.

Тогда мать зарыдала.

– Перестань, – промолвил я. Вынул часы и добавил: – Пять минут даю думать. Если не согласитесь, после пяти минут сам уже не возьмусь делать.

– Не согласна! – резко сказала мать.

– Нет нашего согласия! – добавила бабка.

– Ну, как хотите, – глухо добавил я и подумал: «Ну, вот и все! Мне легче. Я сказал, предложил, вон у акушерок изумленные глаза. Они отказались, и я спасен». И только что подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил:

– Что вы, с ума сошли? Как это так не согласны? Губите девочку. Соглашайтесь. Как вам не жаль?

– Нет! – снова крикнула мать.

Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку». А говорил иное:

– Ну, скорей, скорей соглашайтесь! Соглашайтесь! Ведь у нее уже ногти синеют.

– Нет! Нет!

– Ну, что же, уведите их в палату, пусть там сидят.

Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщин и свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал:

– Соглашаются!

Внутри у меня все окаменело, но выговорил я ясно:

– Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки, зонд!

Через минуту я перебежал двор, где, как бес, летала и шаркала метель, прибежал к себе и, считая минуты, ухватился за книгу, перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. На нем все было ясно и просто: горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал, слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. «Э, теперь уж поздно», – подумал я, взглянул с тоской на синий цвет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное, страшное дело, и вернулся, не заметив вьюги, в больницу.

В приемной тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос заныл:

– Батюшка, как же так, горло девчонке резать? Да разве же это мыслимо? Она, глупая баба, согласилась. А моего согласия нету, нету. Каплями согласна лечить, а горло резать не дам.

– Бабку эту вон! – закричал я и в запальчивости добавил: – Ты сама глупая баба! Сама! А та именно умная! И вообще никто тебя не спрашивает! Вон ее!

Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из палаты.

– Готово! – вдруг сказал фельдшер.

Мы вошли в малую операционную, и я, как сквозь завесу, увидал блестящие инструменты, ослепительную лампу, клеенку… В последний раз я вышел к матери, из рук которой девочку еле вырвали. Я услыхал лишь хриплый голос, который говорил: «Мужа нет. Он в городу. Придет, узнает, что я наделала, – убьет меня!»

– Убьет, – повторила бабка, глядя на меня в ужасе.

– В операционную их не пускать! – приказал я.

Мы остались одни в операционной. Персонал, я и Лидка – девочка. Она, голенькая, сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло ее вымыли, смазали йодом, и я взял нож, при этом подумал: «Что я делаю?» Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила меж раздавшейся кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь и мгновенно залила всю рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я пинцетами стал зажимать края раны, но ничего не выходило. Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь. В злобном отчаянии я сунул пинцет наобум, куда-то близ раны, защелкнул его, и кровь тотчас же перестала течь. Рану мы отсосали комками марли, она предстала предо мной чистой и абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло минуты две-три, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло. И к концу второй минуты я отчаялся его найти. «Конец… – подумал я, – зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию, и Лидка спокойно умерла бы у меня в палате, а теперь она умрет с разорванным горлом, и никогда, ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей…» Акушерка молча вытерла мой лоб. «Положить нож, сказать: не знаю, что дальше делать», – так подумал я, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Лидку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло.

– Крючки! – сипло бросил я.

Фельдшер подал их. Я вонзил один крючок с одной стороны,

другой – с другой, и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно: сероватые колечки горла. Острый нож я вколол в горло – и обмер. Горло поднялось из раны, фельдшер, как мелькнуло у меня в голове, сошел с ума: он стал вдруг выдирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял глаза и понял, в чем дело: фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты и, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло. «Всё против меня, судьба, – подумал я, – теперь уж, несомненно, зарезали мы девочку, – и мысленно строго добавил: – Только дойду домой – и застрелюсь…» Тут старшая акушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок, причем сказала, стиснув зубы:

– Продолжайте, доктор…

Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но Лидка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это нужно было. Я глубоко вздохнул и остановился: больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощенья, покаяться в своем легкомыслии, в том, что я поступил на медицинский факультет. Стояло молчание. Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать, как вдруг Лидка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло; потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный и потный, тупо и в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать.

Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушерок, и одна из них мне сказала:

– Ну и блестяще же вы сделали, доктор, операцию.

Я подумал, что она смеется надо мной, и мрачно, исподлобья глянул на нее. Потом распахнулись двери, повеяло свежестью. Лидку вынесли в простыне, и сразу же в дверях показалась мать. Глаза у нее были, как у дикого зверя. Она спросила у меня:

– Что?

Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине, я только тогда сообразил, что было бы, если бы Лидка умерла на столе. Но голосом очень спокойным я ей ответил:

– Будь поспокойнее. Жива. Будет, надеюсь, жива. Только, пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить, так не бойтесь.

И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверную ручку, на меня, на потолок. Но я уж не рассердился на нее. Повернулся, приказал Лидке впрыснуть камфару и по

очереди дежурить возле нее. Затем ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете, лежал Додерляйн, валялись книги. Я подошел к дивану одетый, лег на него и сейчас же перестал видеть что бы то ни было; заснул и даже снов не видел.

* * *

Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал, и было уже кое-что страшнее Лидкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличивался с каждым днем. И как-то, в новом уже году, вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку закутанную, как тумбочка, девчонку. Женщина сияла глазами. Я всмотрелся – узнал.

– А, Лидка! Ну, что?

– Да хорошо все.

Лидке распутали горло. Она дичилась и боялась, но все же мне удалось поднять подбородок и заглянуть. На розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных от швов.

– Все в порядке, – сказал я, – можете больше не приезжать.

– Благодарю вас, доктор, спасибо, – сказала мать, а Лидке велела: – Скажи дяденьке спасибо!

Но Лидка не желала мне ничего говорить. Больше я никогда в жизни ее не видел. Я стал забывать ее. А прием мой все возрастал. Вот настал день, когда я принял сто десять человек. Мы начали в девять часов утра и кончили в восемь часов вечера. Я, пошатываясь, снимал халат. Старшая акушерка-фельдшерица сказала мне:

– За такой прием благодарите трахеотомию. Вы знаете, что в деревнях говорят? Будто вы больной Лидке вместо ее горла вставили стальное и зашили. Специально ездят в эту деревню глядеть на нее. Вот вам и слава, доктор, поздравляю.

– Так и живет со стальным? – осведомился я.

– Так и живет. Ну, а вы доктор, молодец. И хладнокровно как делаете, прелесть!

– М-да… я, знаете ли, никогда не волнуюсь, – сказал я неизвестно зачем, но почувствовал, что от усталости даже устыдиться не могу, только глаза отвел в сторону. Попрощался и ушел к себе. Крупный снег шел, все застилая. Фонарь горел, и дом мой был одинок, спокоен и важен. И я, когда шел, хотел одного – спать.

Тьма египетская

Где же весь мир в день моего рождения? Где электрические фонари Москвы? Люди? Небо? За окошками нет ничего! Тьма…

Мы отрезаны от людей. Первые керосиновые фонари от нас в девяти верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик, издыхает от метели. Пройдет в полночь с воем скорый в Москву и даже не остановится – не нужна ему забытая станция, погребенная в буране. Разве что занесет пути.

Первые электрические фонари в сорока верстах, в уездном городе. Там сладостная жизнь. Кинематограф есть, магазины. В то время как воет и валит снег на полях, на экране, возможно, плывет тростник, качаются пальмы, мигает тропический остров…

Мы же одни.

– Тьма египетская, – заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв штору.

Выражается он торжественно, но очень метко. Именно – египетская.

– Прошу еще по рюмочке, – пригласил я. (Ах, не осуждайте! Ведь врач, фельдшер, две акушерки, ведь мы тоже люди! Мы не видим целыми месяцами никого, кроме сотен больных. Мы работаем, мы погребены в снегу. Неужели же нельзя нам выпить по две рюмки разведенного спирту по рецепту и закусить уездными шпротами в день рождения врача?)

– За ваше здоровье, доктор! – прочувственно сказал Демьян Лукич.

– Желаем вам привыкнуть у нас! – сказала Анна Николаевна и, чокаясь, поправила парадное свое платье с разводами.

Вторая акушерка Пелагея Ивановна чокнулась, хлебнула, сейчас же присела на корточки и кочергой пошевелила в печке. Жаркий блеск метнулся по нашим лицам, в груди теплело от водки.

– Я решительно не постигаю, – заговорил я возбужденно и глядя на тучу искр, взметнувшихся под кочергой, – что эта баба сделала с белладонной. Ведь это же кошмар!

Улыбки заиграли на лицах фельдшера и акушерок.

Дело было вот в чем. Сегодня на утреннем приеме в кабинет ко мне протиснулась румяная бабочка лет тридцати. Она поклонилась акушерскому креслу, стоящему за моей спиной, затем из-за пазухи достала широкогорлый флакон и запела льстиво:

– Спасибо вам, гражданин доктор, за капли. Уж так помогли, так помогли!.. Пожалуйте еще баночку.

Я взял у нее из рук флакон, глянул на этикетку, и в глазах у меня позеленело. На этикетке было написано размашистым почерком Демьяна Лукича: «Тинцт. Белладонн…» и т. д. «16 декабря 1917 года».

Другими словами, вчера я выписал бабочке порядочную порцию белладонны, а сегодня, в день моего рождения, 17 декабря, бабочка приехала с сухим флаконом и с просьбой повторить.

– Ты… ты… все приняла вчера? – спросил я диким голосом.

– Все, батюшка милый, все, – пела бабочка сдобным голосом, – дай вам Бог здоровья за эти капли… полбаночки – как приехала, а полбаночки – как спать ложиться. Как рукой сняло…

Я прислонился к акушерскому креслу.

– Я тебе по скольку капель говорил? – задушенным голосом заговорил я. – Я тебе по пять капель… Что ж ты делаешь, бабочка? Ты ж… я ж…

– Ей-богу, приняла! – говорила баба, думая, что я не доверяю ей, будто она лечилась моей белладонной.

Я охватил руками румяные щеки и стал всматриваться в зрачки. Но зрачки были как зрачки. Довольно красивые, совершенно нормальные. Пульс у бабы был тоже прелестный. Вообще никаких признаков отравления белладонной у бабы не замечалось.

– Этого не может быть!.. – заговорил я и завопил: – Демьян Лукич!

Демьян Лукич в белом халате вынырнул из аптечного коридора.

– Полюбуйтесь, Демьян Лукич, что эта красавица сделала! Я ничего не понимаю…

Баба испуганно вертела головой, поняв, что в чем-то она провинилась.

Демьян Лукич завладел флаконом, понюхал его, повертел в руках и строго молвил:

– Ты, милая, врешь. Ты лекарство не принимала!

– Ей-бо… – начала баба.

– Бабочка, ты нам очков не втирай, – сурово, искривив рот, говорил Демьян Лукич, – мы все досконально понимаем. Сознавайся, кого лечила этими каплями?

Баба возвела свои нормальные зрачки на чисто выбеленный потолок и перекрестилась.

– Вот чтоб мне…

– Брось, брось… – бубнил Демьян Лукич и обратился ко мне: – Они, доктор, ведь как делают. Съездит такая артистка в больницу, выпишут ей лекарство, а она приедет в деревню и всех

баб угостит.

– Что вы, гражданин фершал…

– Брось! – отрезал фельдшер. – Я у вас восьмой год. Знаю. Конечно, раскапала весь флакончик по всем дворам, – продолжал он мне.

– Еще этих капелек дайте, – умильно попросила баба.

– Ну, нет, бабочка, – ответил я и вытер пот со лба, – этими капельками больше тебе лечиться не придется. Живот полегчал?

– Прямо-таки, ну, рукой сняло!..

– Ну, вот и превосходно. Я тебе других выпишу, тоже очень хорошие.

И я выписал бабочке валерьянки, и она, разочарованная, уехала.

Вот об этом случае мы и толковали у меня в докторской квартире в день моего рождения, когда за окнами висела тяжким занавесом метельная египетская тьма.

– Это что, – говорил Демьян Лукич, деликатно прожевывая рыбку в масле, – это что. Мы-то привыкли уже здесь. А вам, дорогой доктор, после университета, после столицы, весьма и весьма придется привыкать. Глушь!

– Ах, какая глушь! – как эхо, отозвалась Анна Николаевна.

Метель загудела где-то в дымоходах, прошелестела за стеной. Багровый отсвет лег на темный железный лист у печки. Благословение огню, согревающему медперсонал в глуши!

– Про вашего предшественника Леопольда Леопольдовича изволили слышать? – заговорил фельдшер и, деликатно угостив папироской Анну Николаевну, закурил сам.

– Замечательный доктор был! – восторженно молвила Пелагея Ивановна, блестящими глазами всматриваясь в благостный огонь. Праздничный гребень с фальшивыми камушками вспыхивал и погасал у нее в черных волосах.

– Да, личность выдающаяся, – подтвердил фельдшер. – Крестьяне его прямо обожали. Подход знал к ним. На операцию ложиться к Липонтию – пожалуйста! Они его вместо Леопольд Леопольдовича Липонтий Липонтьевичем звали. Верили ему. Ну, и разговаривать с ними умел. Нуте-с, приезжает как-то к нему приятель его, Федор Косой из Дульцева, на прием. Так и так, говорит, Липонтий Липонтьич, заложило мне грудь, ну, не продохнуть. И, кроме того, как будто в глотке царапает…

– Ларингит, – машинально молвил я, привыкнув уже за месяц бешеной гонки к деревенским молниеносным диагнозам.

– Совершенно верно. «Ну, – говорит Липонтий, – я тебе дам средство. Будешь ты здоров через два дня. Вот тебе французские горчишники. Один налепишь на спину между крыл, другой – на

грудь. Подержишь десять минут, сымешь. Марш! Действуй!» Забрал тот горчишники и уехал. Через два дня появляется на приеме.

«В чем дело?» – спрашивает Липонтий.

А Косой ему:

«Да что ж, – говорит, – Липонтий Липонтьич, не помогают ваши горчишники ничего».

«Врешь! – отвечает Липонтий. – Не могут французские горчишники не помочь! Ты их, наверное, не ставил?»

«Как же, говорит, не ставил? И сейчас стоит…»

И при этом поворачивается спиной, а у него горчишник на тулупе налеплен!..

Я расхохотался, а Пелагея Ивановна захихикала и ожесточенно застучала кочергой по полену.

– Воля ваша, это – анекдот, – сказал я, – не может быть!

– Анекдот?! Анекдот? – вперебой воскликнули акушерки.

– Нет-с! – ожесточенно воскликнул фельдшер. – У нас, знаете ли, вся жизнь из подобных анекдотов состоит…У нас тут такие вещи…

– А сахар?! – воскликнула Анна Николаевна. – Расскажите про сахар, Пелагея Ивановна!

Пелагея Ивановна прикрыла заслонку и заговорила, потупившись:

– Приезжаю я в то же Дульцево к роженице…

– Это Дульцево – знаменитое место, – не удержался фельдшер и добавил: – Виноват! Продолжайте, коллега!

– Ну, понятное дело, исследую, – продолжала коллега Пелагея Ивановна, – чувствую под пальцами в родовом канале что-то непонятное… То рассыпчатое, то кусочки… Оказывается – сахар-рафинад!

– Вот и анекдот! – торжественно заметил Демьян Лукич.

– Позвольте… ничего не понимаю…

– Бабка! – отозвалась Пелагея Ивановна – Знахарка научила. Роды, говорит, у ей трудные. Младенчик не хочет выходить на Божий свет. Стало быть, нужно его выманить. Вот они, значит, его на сладкое и выманивали!

– Ужас! – сказал я.

– Волосы дают жевать роженицам, – сказала Анна Николаевна.

– Зачем?!

– Шут их знает. Раза три привозили нам рожениц. Лежит и плюется бедная женщина. Весь рот полон щетины. Примета есть такая, будто роды легче пойдут…

Глаза у акушерок засверкали от воспоминаний. Мы долго у

огня сидели за чаем, и я слушал как зачарованный. О том, что, когда приходится везти роженицу из деревни к нам в больницу, Пелагея Ивановна свои сани всегда сзади пускает: не передумали бы по дороге, не вернули бы бабу в руки бабки. О том, как однажды роженицу при неправильном положении, чтобы младенчик повернулся, кверху ногами к потолку подвешивали. О том, как бабка из Коробова, наслышавшись, что врачи делают прокол плодного пузыря, столовым ножом изрезала всю голову младенцу, так что даже такой знаменитый и ловкий человек, как Липонтий, не мог его спасти, и хорошо, что хоть мать спас. О том…

Печку давно закрыли. Гости мои ушли в свой флигель. Я видел, как некоторое время тускловато светилось оконце у Анны Николаевны, потом погасло. Все скрылось. К метели примешался густейший декабрьский вечер, и черная завеса скрыла от меня и небо и землю.

Я расхаживал у себя по кабинету, и пол поскрипывал под ногами, и было тепло от голландки-печки, и слышно было, как грызла где-то деловито мышь.

«Ну, нет, – раздумывал я, – я буду бороться с египетской тьмой ровно столько, сколько судьба продержит меня здесь в глуши. Сахар-рафинад… Скажите пожалуйста!..»

В мечтаниях, рождавшихся при свете лампы под зеленым колпаком, возник громадный университетский город, а в нем клиника, а в клинике – громадный зал, изразцовый пол, блестящие краны, белые стерильные простыни, ассистент с остроконечной, очень мудрой, седеющей бородкой…

Стук в такие моменты всегда волнует, страшит. Я вздрогнул…

– Кто там, Аксинья? – спросил я, свешиваясь с балюстрады внутренней лестницы (квартира у врача была в двух этажах: вверху кабинет и спальня, внизу – столовая, еще одна комната – неизвестного назначения – и кухня, в которой и помещалась эта Аксинья-кухарка – и муж ее, бессменный сторож больницы).

Загремел тяжелый запор, свет лампочки заходил и закачался внизу, повеяло холодом. Потом Аксинья доложила:

– Да больной приехал…

Я, сказать по правде, обрадовался. Спать мне еще не хотелось, а от мышиной грызни и воспоминаний стало немного тоскливо, одиноко. Притом больной, значит, не женщина, значит, не самое страшное – не роды.

– Ходит он?

– Ходит, – зевая, ответила Аксинья.

– Ну, пусть идет в кабинет.

Лестница долго скрипела. Поднимался кто-то солидный, большого веса человек. Я в это время уже сидел за письменным столом, стараясь, чтобы двадцатичетырехлетняя моя живость не выскакивала по возможности из профессиональной оболочки эскулапа. Правая моя рука лежала на стетоскопе, как на револьвере.

В дверь втиснулась фигура в бараньей шубе, валенках. Шапка находилась в руках у фигуры.

– Чего же это вы, батюшка, так поздно? – солидно спросил я для очистки совести.

– Извините, гражданин доктор, – приятным, мягким басом отозвалась фигура, – метель – чистое горе! Ну, задержались, что поделаешь, уж простите, пожалуйста!..

«Вежливый человек», – с удовольствием подумал я. Фигура мне очень понравилась, и даже рыжая густая борода произвела хорошее впечатление. Видимо, борода эта пользовалась некоторым уходом. Владелец ее не только подстригал, но даже и смазывал каким-то веществом, в котором врачу, пробывшему в деревне хотя бы короткий срок, нетрудно угадать постное масло.

– В чем дело? Снимите шубу. Откуда вы?

Шуба легла горой на стул.

– Лихорадка замучила, – ответил больной и скорбно глянул.

– Лихорадка? Ага! Вы из Дульцева?

– Так точно. Мельник.

– Ну, как же она вас мучает? Расскажите!

– Каждый день, как двенадцать часов, голова начинает болеть, потом жар как пойдет… Часа два потреплет и отпустит.

«Готов диагноз!» – победно звякнуло у меня в голове.

– А в остальные часы ничего?

– Ноги слабые…

– Ага… Расстегнитесь! Гм… так.

К концу осмотра больной меня очаровал. После бестолковых старушек, испуганных подростков, с ужасом шарахающихся от металлического шпателя, после этой утренней штуки с белладонной на мельнике отдыхал мой университетский глаз.

Речь мельника была толкова. Кроме того, он оказался грамотным, и даже всякий жест его был пропитан уважением к науке, которую я считаю своей любимой, – к медицине.

– Вот что, голубчик, – говорил я, постукивая по широчайшей теплой груди, – у вас малярия. Перемежающаяся лихорадка… У меня сейчас целая палата свободна. Очень советую ложиться ко мне. Мы вас как следует понаблюдаем. Начну вас лечить порошками, а если не поможет, мы вам впрыскивания сделаем. Добьемся успеха. А? Ложитесь?..

– Покорнейше вас благодарю! – очень вежливо ответил мельник. – Наслышаны об вас. Все довольны. Говорят, так помогаете… И на впрыскивания согласен, лишь бы поправиться.

«Нет, это поистине светлый луч во тьме!» – подумал я и сел писать за стол. Чувство у меня при этом было настолько приятное, будто не посторонний мельник, а родной брат приехал ко мне погостить в больницу.

На одном бланке я написал:

«Chinini mur. – 0,5

D. T. dos. № 10

S. Мельнику Худову по одному порошку в полночь».

И поставил лихую подпись.

А на другом бланке:

«Пелагея Ивановна!

Примите во 2-ю палату мельника. У него malaria. Хинин по одному порошку, как полагается, часа за 4 до припадка, значит, в полночь.

Вот вам исключение! Интеллигентный мельник!»

Уже лежа в постели, я получил из рук хмурой и зевающей Аксиньи ответную записку:

«Дорогой доктор!

Все исполнила. Пел. Лобова.»

И заснул.

…И проснулся.

– Что ты? Что? Что, Аксинья?! – забормотал я.

Аксинья стояла, стыдливо прикрываясь юбкой с белым горошком по темному полю. Стеариновая свеча трепетно освещала ее заспанное и встревоженное лицо.

– Марья сейчас прибежала, Пелагея Ивановна велела, чтоб вас сейчас же позвать.

– Что такое?

– Мельник, говорит, во второй палате помирает.

– Что-о?! Помирает? Как это так помирает?!

Босые мои ноги мгновенно ощутили прохладный пол, не попадая в туфли. Я ломал спички и долго тыкал в горелку, пока она не зажглась синеватым огоньком. На часах было ровно шесть.

«Что такое?.. Что такое? Да неужели же не малярия?! Что же с ним такое? Пульс прекрасный…»

Не позже чем через пять минут я, в надетых наизнанку носках, в незастегнутом пиджаке, взъерошенный, в валенках, проскочил через двор, еще совершенно темный, и вбежал во вторую палату.

На раскрытой постели, рядом со скомканной простыней, в одном больничном белье сидел мельник. Его освещала маленькая

керосиновая лампочка. Рыжая его борода была взъерошена, а глаза мне показались черными и огромными. Он покачивался, как пьяный. С ужасом осматривался, тяжело дышал…

Сиделка Марья, открыв рот, смотрела на его темно-багровое лицо.

Пелагея Ивановна, в криво надетом халате, простоволосая, метнулась навстречу мне.

– Доктор! – воскликнула она хрипловатым голосом. – Клянусь вам, я не виновата! Кто же мог ожидать? Вы же сами черкнули – интеллигентный…

– В чем дело?!

Пелагея Ивановна всплеснула руками и молвила:

– Вообразите, доктор! Он все десять порошков хинину съел сразу! В полночь.

Был мутноватый зимний рассвет. Демьян Лукич убирал желудочный зонд. Пахло камфарным маслом. Таз на полу был полон буроватой жидкостью. Мельник лежал истощенный, побледневший, до подбородка укрытый белой простыней. Рыжая борода торчала дыбом. Я, наклонившись, пощупал пульс и убедился, что мельник выскочил благополучно.

– Ну, как? – спросил я.

– Тьма египетская в глазах… О… ох… – слабым басом отозвался мельник.

– У меня тоже! – раздраженно ответил я.

– Ась? – отозвался мельник (слышал он еще плохо).

– Объясни мне только одно, дядя: зачем ты это сделал?! – в ухо погромче крикнул я.

И мрачный и неприязненный бас отозвался:

– Да, думаю, что валандаться с вами по одному порошочку? Сразу принял – и делу конец.

– Это чудовищно! – воскликнул я.

– Анекдот-с! – как бы в язвительном забытьи отозвался фельдшер…

* * *

«Ну, нет… я буду бороться. Я буду… Я…» И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленою тьма египетская… и в ней будто бы я… не то с мечом, не то со стетоскопом. Иду… борюсь… В глуши. Но не один. А идет моя рать: Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Ивановна. Все в белых халатах, и всё вперед, вперед…

Сон – хорошая штука!..

Морфий

1

Давно уже отмечено умными людьми, что счастье – как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, – как вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь!

Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году, зимой. Незабываемый, вьюжный, стремительный год.

Начавшаяся вьюга подхватила меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла с глухого участка в уездный город. Велика штука, подумаешь, уездный город? Но если кто-нибудь подобно мне просидел в снегу зимой, в строгих и бедных лесах летом, полтора года, не отлучаясь ни на один день, если кто-нибудь разрывал бандероль на газете от прошлой недели с таким сердечным биением, точно счастливый любовник голубой конверт, ежели кто-нибудь ездил на роды за 18 верст в санях, запряженных гуськом, тот, надо полагать, поймет меня.

Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество!

И вот я увидел их вновь, наконец, обольстительные электрические лампочки! Главная улица городка, хорошо укатанная крестьянскими санями, улица, на которой, чаруя взор, висели – вывеска с сапогами, золотой крендель, изображение молодого человека со свиными наглыми глазками и с абсолютно неестественной прической, означавшей, что за стеклянными дверями помещается местный Базиль, за 30 копеек бравшийся вас брить во всякое время, за исключением дней праздничных, коими изобилует отечество мое.

До сих пор с дрожью вспоминаю салфетки Базиля, салфетки, заставлявшие неотступно представлять себе ту страницу в германском учебнике кожных болезней, на которой с убедительной ясностью изображен твердый шанкр на подбородке у какого-то гражданина.

Но и салфетки эти все же не омрачат моих воспоминаний!

На перекрестке стоял живой милиционер, в запыленной витрине смутно виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом, сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали, в будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащими в себе потрясающие известия, невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация, Вавилон, Невский

проспект.

О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское. В больнице была операционная, в ней сиял автоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший врач, три ординатора (кроме меня). Фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только! С цейсовским микроскопом, прекрасным запасом красок.

Я вздрагивал и холодел, меня давили впечатления. Немало дней прошло, пока я не привык к тому, что одноэтажные корпуса больницы в декабрьские сумерки, словно по команде, загорались электрическим светом.

Он слепил меня. В ваннах бушевала и гремела вода, и деревянные измызганные термометры ныряли и плавали в них. В детском заразном отделении весь день вспыхивали стоны, слышался тонкий жалостливый плач, хриплое бульканье…

Сиделки бегали, носились…

Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете. Я не был виноват в ущемленной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани и привозили женщину с поперечным положением, меня не касались гнойные плевриты, требовавшие операции… Я почувствовал себя впервые человеком, объем ответственности которого ограничен какими-то рамками. Роды? Пожалуйста, вон – низенький корпус, вон – крайнее окно, завешенное белой марлей. Там врач-акушер, симпатичный и толстый, с рыженькими усиками и лысоватый. Это его дело. Сани, поворачивайте к окну с марлей! Осложненный перелом – главный врач-хирург. Воспаление легких? – В терапевтическое отделение к Павлу Владимировичу.

О, величественная машина большой больницы на налаженном, точно смазанном ходу! Как новый винт по заранее взятой мерке, и я вошел в аппарат и принял детское отделение. И дифтерит, и скарлатина поглотили меня, взяли мои дни. Но только дни. Я стал спать по ночам, потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог поднять меня и увлечь в тьму на опасность и неизбежность. По вечерам я стал читать (про дифтерит и скарлатину, конечно, в первую голову и затем почему-то со странным интересом Фенимора Купера) и оценил вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самовара, и стынущий чай, и сон после бессонных полутора лет…

Так я был счастлив в 17-м году зимой, получив перевод в

уездный город с глухого вьюжного участка.

2

Пролетел месяц, за ним второй и третий, 17-й год отошел, и полетел февраль 18-го. Я привык к своему новому положению и мало-помалу свой дальний участок стал забывать. В памяти стерлась зеленая лампа с шипящим керосином, одиночество, сугробы… Неблагодарный! Я забыл свой боевой пост, где я один без всякой поддержки боролся с болезнями, своими силами, подобно герою Фенимора Купера выбираясь из самых диковинных положений.

Изредка, правда, когда я ложился в постель с приятной мыслью о том, как сейчас я усну, какие-то обрывки проносились в темнеющем уже сознании. Зеленый огонек, мигающий фонарь… скрип саней… короткий стон, потом тьма, глухой вой метели в полях… Потом все это боком кувыркалось и проваливалось…

«Интересно, кто там сидит сейчас на моем месте?.. Кто-нибудь да сидит… Молодой врач вроде меня… Ну, что же, я свое высидел. Февраль, март, апрель… ну, и, скажем, май – и конец моему стажу. Значит, в конце мая я расстанусь с моим блистательным городом и вернусь в Москву. И ежели революция подхватит меня на свое крыло – придется, возможно, еще поездить… но во всяком случае своего участка я более никогда в жизни не увижу… Никогда… Столица… Клиника… Асфальт, огни…»

Так думал я.

«…А все-таки хорошо, что я пробыл на участке… Я стал отважным человеком… Я не боюсь… Чего я только не лечил?! В самом деле? А?.. Психических болезней не лечил… Ведь… Верно, нет, позвольте… А агроном допился тогда до чертей… И я его лечил, и довольно неудачно… Белая горячка… Чем не психическая болезнь? Почитать надо бы психиатрию… да ну ее. Когда-нибудь впоследствии в Москве… А сейчас, в первую очередь, детские болезни… и еще детские болезни… и в особенности эта каторжная детская рецептура… Фу, черт… Если ребенку 10 лет, то, скажем, сколько пирамидону ему можно дать на прием? 0,1 или 0,15?.. Забыл. А если три года?.. Только детские болезни… и ничего больше… довольно умопомрачительных случайностей! Прощай, мой участок!.. И почему мне этот участок так настойчиво сегодня вечером лезет в голову?.. Зеленый огонь… Ведь я покончил с ним расчеты на всю жизнь… Ну и довольно… Спать…»

* * *

– Вот письмо. С оказией привезли…

– Давайте сюда.

Сиделка стояла у меня в передней. Пальто с облезшим воротником было накинуто поверх белого халата с клеймом. На синем дешевом конверте таял снег.

– Вы сегодня дежурите в приемном покое? – спросил я, зевая.

– Я.

– Никого нет?

– Нет, пусто.

– Ешли… (зевота раздирала мне рот, и от этого слова я произносил неряшливо) кого-нибудь привежут… вы дайте мне знать шюда… Я лягу спать…

– Хорошо. Можно иттить?

– Да, да. Идите.

Она ушла. Дверь визгнула, а я зашлепал туфлями в спальню, по дороге безобразно и криво раздирая пальцами конверт.

В нем оказался продолговатый смятый бланк с синим штемпелем моего участка, моей больницы… Незабываемый бланк…

Я усмехнулся.

«Вот интересно… весь вечер думал об участке, и вот он явился сам напомнить о себе… Предчувствие…»

Под штемпелем химическим карандашом был начертан рецепт. Латинские слова, неразборчивые, перечеркнутые…

– Ничего не понимаю… Путаный рецепт… – пробормотал я и уставился на слово «morphini…». Что, бишь, тут необычайного в этом рецепте?.. Ах, да… четырехпроцентный раствор! Кто же выписывает четырехпроцентный раствор морфия?.. Зачем?!

Я перевернул листок, и зевота моя прошла. На обороте листка чернилами, вялым и разгонистым почерком было написано:

«11 февраля 1918 года.

Милый коллега!

Извините, что пишу на клочке. Нет под руками бумаги. Я очень тяжко и нехорошо заболел. Помочь мне некому, да я и не хочу искать помощи ни у кого, кроме Вас.

Второй месяц я сижу в бывшем Вашем участке, знаю, что Вы в городе и сравнительно недалеко от меня.

Во имя нашей дружбы и университетских лет прошу Вас приехать ко мне поскорее. Хоть на день. Хоть на час. И если Вы скажете, что я безнадежен, я Вам поверю… А может быть, можно спастись?.. Да, может быть, еще можно спастись?.. Надежда

блеснет для меня? Никому, прошу Вас, не сообщайте о содержании этого письма».

– Марья! Сходите сейчас же в приемный покой и вызовите ко мне дежурную сиделку… Как ее зовут?.. Ну, забыл… Одним словом, дежурную, которая мне письмо принесла сейчас. Поскорее!

– Счас.

Через несколько минут сиделка стояла передо мной, и снег таял на облезшей кошке, послужившей материалом для воротника.

– Кто привез письмо?

– А не знаю я. С бородой. Кооператор он. В город ехал, говорит.

– Гм… ну ступайте. Нет, постойте. Вот я сейчас записку напишу главному врачу, отнесите, пожалуйста, и ответ мне верните.

– Хорошо.

Моя записка главному врачу:

«13 февраля 1918 года.

Уважаемый Павел Илларионович. Я сейчас получил письмо от моего товарища по университету доктора Полякова. Он сидит на Гореловском, моем бывшем участке в полном одиночестве. Заболел, по-видимому, тяжело. Считаю своим долгом съездить к нему. Если разрешите, я завтра сдам на один день отделение доктору Родовичу и съезжу к Полякову. Человек беспомощен.

Уважающий Вас

д-р Бомгард».

Ответная записка главного врача:

«Уважаемый Владимир Михайлович, поезжайте.

Петров».

Вечер я провел над путеводителем по железным дорогам. Добраться до Горелова можно было таким образом: завтра выехать в два часа дня с московским почтовым поездом, проехать 30 верст по железной дороге, высадиться на станции Н., а от нее двадцать две версты проехать на санях до Гореловской больницы.

«При удаче я буду в Горелове завтра ночью, – думал я, лежа в постели. – Чем он заболел? Тифом, воспалением легких? Ни тем, ни другим… Тогда бы он и написал просто: „Я заболел воспалением легких“. А тут сумбурное, чуть-чуть фальшивое письмо… „Тяжко и нехорошо заболел…“ Чем? Сифилисом? Да, несомненно, сифилисом. Он в ужасе… он скрывает… он боится… Но на каких лошадях, интересно знать, я со станции поеду в Горелово? Плохой номер выйдет, как приедешь на станцию в сумерки, а добраться-то будет и не на чем… Ну, нет. Уж я найду

способ. Найду у кого-нибудь лошадей на станции. Послать телеграмму, чтоб он выслал лошадей! Ни к чему! Телеграмма придет через день после моего приезда… Она ведь по воздуху в Горелово не перелетит. Будет лежать на станции, пока не случится оказия. Знаю я это Горелово. О, медвежий угол!»

Письмо на бланке лежало на ночном столике в круге света от лампы, и рядом стояла спутница раздражительной бессонницы, с щетиной окурков, пепельница. Я ворочался на скомканной простыне, и досада рождалась в душе. Письмо начало раздражать меня.

В самом деле: если ничего острого, а, скажем, сифилис, то почему же он не едет сюда сам? Почему я должен нестись через вьюгу к нему? Что, я в один вечер вылечу его от люэса, что ли? Или от рака пищевода? Да какой там рак! Он на два года моложе меня. Ему 25 лет… «Тяжко…» Саркома? Письмо нелепое, истерическое. Письмо, от которого у получающего может сделаться мигрень… И вот она налицо. Стягивает жилку на виске… Утром проснешься, стало быть, и от жилки полезет вверх на темя, скует полголовы, и будешь к вечеру глотать пирамидон с кофеином. А каково в санях с пирамидоном? Надо будет у фельдшера шубу взять разъездную, замерзнешь завтра в своем пальто… Что с ним такое? «Надежда блеснет…» – в романах так пишут, а вовсе не в серьезных докторских письмах!.. Спать, спать… Не думать больше об этом. Завтра все станет ясно… Завтра».

Я привернул выключатель, и мгновенно тьма съела мою комнату. Спать… Жилка ноет… Но я не имею права сердиться на человека за нелепое письмо, еще не зная, в чем дело. Человек страдает по-своему, вот пишет другому. Ну, как умеет, как понимает… И недостойно из-за мигрени, из-за беспокойства порочить его хотя бы мысленно. Может быть, это и не фальшивое и не романическое письмо. Я не видел его, Сережу Полякова, два года, но помню его отлично. Он был всегда очень рассудительным человеком… Да. Значит, стряслась какая-то беда… И жилка моя легче… Видно, сон идет. В чем механизм сна?.. Читал в физиологии… но история темная… не понимаю, что значит сон… Как засыпают мозговые клетки?! Не понимаю, говорю по секрету. Да почему-то уверен, что и сам составитель физиологии тоже не очень твердо уверен… Одна теория стоит другой… Вон стоит Сережка Поляков в зеленой тужурке с золотыми пуговицами над цинковым столом, а на столе труп…

Хм, да… ну, это сон…

Тук, тук… Бух, бух, бух… Ага… Кто? Кто? Что?.. Ах, стучат, ах, черт, стучат… Где я? Что я?.. В чем дело? Да, я у себя в постели… Почему же меня будят? Имеют право потому, что я дежурный. Проснитесь, доктор Бомгард. Вон Марья зашлепала к двери открывать. Сколько времени? Половина первого… Ночь. Спал я, значит, только один час. Как мигрень? Налицо. Вот она!

В дверь тихо постучали.

– В чем дело?

Я приоткрыл дверь в столовую. Лицо сиделки глянуло на меня из темноты, и я разглядел сразу, что оно бледно, что глаза расширены, взбудоражены.

– Кого привезли?

– Доктора с Гореловского участка, – хрипло и громко ответила сиделка, – застрелился доктор.

– По-ля-ко-ва? Не может быть! Полякова?!

– Фамилии-то я не знаю.

– Вот что… Сейчас, сейчас иду. А вы бегите к главному врачу, будите его, сию секунду. Скажите, что я вызываю его срочно в приемный покой.

Сиделка метнулась – и белое пятно исчезло из глаз.

Через две минуты злая вьюга, сухая и колючая, хлестанула меня по щекам на крыльце, вздула полы пальто, оледенила испуганное тело.

В окнах приемного покоя полыхал свет белый и беспокойный. На крыльце, в туче снега, я столкнулся со старшим врачом, стремившимся туда же, куда и я.

– Ваш? Поляков? – спросил, покашливая, хирург.

– Ничего не пойму. Очевидно, он, – ответил я, и мы стремительно вошли в покой.

С лавки навстречу поднялась закутанная женщина. Знакомые глаза заплаканно глянули на меня из-под края бурого платка. Я узнал Марью Власьевну, акушерку из Горелова, верную мою помощницу во время родов в Гореловской больнице.

– Поляков? – спросил я.

– Да, – ответила Марья Власьевна, – такой ужас, доктор, ехала, дрожала всю дорогу, лишь бы довезти…

– Когда?

– Сегодня утром на рассвете – бормотала Марья Власьевна, – прибежал сторож, говорит… «У доктора выстрел в квартире…»

Под лампой, изливающей скверный тревожный свет, лежал доктор Поляков, и с первого же взгляда на его безжизненные, словно каменные, ступни валенок у меня привычно екнуло сердце.

Шапку с него сняли – и показались слипшиеся, влажные

волосы. Мои руки, руки сиделки, руки Марьи Власьевны замелькали над Поляковым, и белая марля с расплывающимися желто-красными пятнами вышла из-под пальто. Грудь его поднималась слабо. Я пощупал пульс и дрогнул, пульс исчезал под пальцами, тянулся и срывался в ниточку с узелками, частыми и непрочными. Уже тянулась рука хирурга к плечу, брала бледное тело в щипок на плече, чтобы впрыснуть камфару. Тут раненый расклеил губы, причем на них показалась розоватая кровавая полоска, чуть шевельнул синими губами и сухо, слабо выговорил:

– Бросьте камфару. К черту.

– Молчите, – ответил ему хирург и толкнул желтое масло под кожу.

– Сердечная сумка, надо полагать, задета, – шепнула Марья Власьевна, цепко взялась за край стола и стала всматриваться в бесконечные веки раненого (глаза его были закрыты). Тени серо-фиолетовые, как тени заката, все ярче стали зацветать в углублениях у крыльев носа, и мелкий, точно ртутный, пот росой выступал на тенях.

– Револьвер? – дернув щекой, спросил хирург.

– Браунинг, – пролепетала Марья Власьевна.

– Э-эх, – вдруг, как бы злобно и досадуя, сказал хирург и вдруг, махнув рукой, отошел.

Я испуганно обернулся к нему, не понимая. Еще чьи-то глаза мелькнули за плечом. Подошел еще один врач.

Поляков вдруг шевельнул ртом, криво, как сонный, когда хочет согнать липнущую муху, а затем его нижняя челюсть стала двигаться, как бы он давился комочком и хотел его проглотить. Ах, тому, кто видел скверные револьверные или ружейные раны, хорошо знакомо это движение! Марья Власьевна болезненно сморщилась, вздохнула.

– Доктора Бомгарда… – еле слышно сказал Поляков.

– Я здесь, – шепнул я, и голос мой прозвучал нежно у самых его губ.

– Тетрадь вам… – хрипло и еще слабее отозвался Поляков.

Тут он открыл глаза и возвел их к нерадостному, уходящему в темь потолку покоя. Как будто светом изнутри стали наливаться темные зрачки, белок глаз стал как бы прозрачен, голубоват. Глаза остановились в выси, потом помутнели и потеряли эту мимолетную красу.

Доктор Поляков умер.

Ночь. Близ рассвета. Лампа горит очень ясно, потому что городок спит и току электрического много. Все молчит, а тело Полякова в часовне. Ночь.

На столе перед воспаленными от чтения глазами лежат

вскрытый конверт и листок. На нем написано:

«Милый товарищ!

Я не буду Вас дожидаться. Я раздумал лечиться. Это безнадежно. И мучиться я тоже больше не хочу. Я достаточно попробовал. Других предостерегаю: будьте осторожны с белыми, растворимыми в 25 частях воды кристаллами. Я слишком им доверился, и они меня погубили. Мой дневник вам дарю. Вы всегда казались мне человеком пытливым и любителем человеческих документов. Если интересует Вас, прочтите историю моей болезни.

Прощайте. Ваш

С. Поляков».

Приписка крупными буквами:

«В смерти моей прошу никого не винить.

Лекарь Сергей Поляков.

13 февраля 1918 года».

Рядом с письмом самоубийцы тетрадь типа общих тетрадей в черной клеенке. Первая половина страниц из нее вырвана. В оставшейся половине краткие записи, вначале карандашом или чернилами, четким мелким почерком, в конце тетради карандашом химическим и карандашом толстым красным, почерком небрежным, почерком прыгающим и со многими сокращенными словами.

…7 год [1], 20-го января.

…и очень рад. И слава Богу: чем глуше, тем лучше. Видеть людей не могу, а здесь я никаких людей не увижу, кроме больных крестьян. Но они ведь ничем не тронут моей раны? Других, впрочем, не хуже моего рассадили по земским участкам. Весь мой выпуск, не подлежащий призыву на войну (ратники ополчения 2-го разряда выпуска 1916 г.), разместили в земствах. Впрочем, это не интересно никому. Из приятелей узнал только об Иванове и Бомгарде. Иванов выбрал Архангельскую губернию (дело вкуса), а Бомгард, как говорила фельдшерица, сидит на глухом участке вроде моего за три уезда от меня, в Горелове. Хотел ему написать, но раздумал. Не желаю видеть и слышать людей.

21 января.

Вьюга. Ничего.

25 января.

Какой ясный закат. Мигренин – соединение антипирина coffein'a ac citric.

В порошках по 1,0… разве можно по 1,0?.. Можно.

3 февраля.

Сегодня получил газеты за прошлую неделю. Читать не стал, но потянуло все-таки посмотреть отдел театров. «Аида» шла на

прошлой неделе. Значит, она выходила на возвышение и пела: «Мой милый друг, приди ко мне…»

У нее голос необыкновенный, и как странно, что голос ясный, громадный дан темной душонке…

(Здесь перерыв, вырваны две или три страницы.)

…конечно, недостойно, доктор Поляков. Да и гимназически-глупо с площадной бранью обрушиваться на женщину за то, что она ушла! Не хочет жить – ушла. И конец.

Как все просто, в сущности. Оперная певица сошлась с молодым врачом, пожила год и ушла.

Убить ее? Убить? Ах, как все глупо, пусто. Безнадежно!

Не хочу думать. Не хочу…

11 февраля.

Все вьюги, да вьюги… Заносит меня! Целыми вечерами я один, один. Зажигаю лампу и сижу. Днем-то я еще вижу людей. Но работаю механически. С работой я свыкся. Она не так страшна, как я думал раньше. Впрочем, много помог мне госпиталь на войне. Все-таки не вовсе неграмотным я приехал сюда.

Сегодня в первый раз делал операцию поворота.

Итак, три человека погребены здесь под снегом: я, Анна Кирилловна – фельдшерица-акушерка и фельдшер. Фельдшер женат. Они (фельдш. персонал) живут во флигеле. А я один.

15 февраля.

Вчера ночью интересная вещь произошла. Я собирался ложиться спать, как вдруг у меня сделались боли в области желудка. Но какие! Холодный пот выступил у меня на лбу.

Все-таки медицина – сомнительная наука, должен заметить.

Отчего у человека, у которого нет абсолютно никакого заболевания желудка или кишечника (аппенд., напр.), у которого прекрасная печень и почки, у которого кишечник функционирует совершенно нормально, могут ночью сделаться такие боли, что он станет кататься по постели?

Со стоном добрался до кухни, где ночует кухарка с мужем своим, Власом. Власа отправил к Анне Кирилловне. Та ночью пришла ко мне и вынуждена была впрыснуть мне морфий. Говорит, что я был совершенно зеленый. Отчего?

Фельдшер наш мне не нравится. Нелюдим, а Анна Кирилловна очень милый и развитой человек. Удивляюсь, как не старая женщина может жить в полном одиночестве в этом снежном гробу. Муж ее в германском плену.

Не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлек из маковых головок морфий. Истинный благодетель человечества. Боли прекратились через семь минут после укола. Интересно: боли

шли полной волной, не давая никаких пауз, так что я положительно задыхался, словно раскаленный лом воткнули в живот и вращали. Минуты через четыре после укола я стал различать волнообразность боли.

Было бы очень хорошо, если б врач имел возможность на себе проверить многие лекарства. Совсем иное у него было бы понимание их действия. После укола впервые за последние месяцы спал глубоко и хорошо, – без мыслей о ней, обманувшей меня.

16 февраля.

Сегодня Анна Кирилловна на приеме осведомилась о том, как я себя чувствую, и сказала, что впервые за все время видит меня нехмурым.

– Разве я хмурый?

– Очень, – убежденно ответила она и добавила, что она поражается тем, что я всегда молчу.

– Такой уж я человек.

Но это ложь. Я был очень жизнерадостным человеком до моей семейной драмы.

Сумерки наступают рано. Я один в квартире. Вечером пришла боль, но не сильная, как тень вчерашней боли, где-то за грудною костью. Опасаясь возврата вчерашнего припадка, я сам себе впрыснул в бедро один сантиграмм.

Боль прекратилась мгновенно почти. Хорошо, что Анна Кирилловна оставила пузырек.

18-го.

Четыре укола не страшны.

25-го февраля.

Чудак эта Анна Кирилловна! Точно я не врач. 11/2 шприца = 0,015 morph.? Да.

1-го марта.

Доктор Поляков, будьте осторожны!

Вздор.

Сумерки.

Но вот уже полмесяца, как я ни разу не возвращался мыслью к обманувшей меня женщине. Мотив из партии ее Амнерис покинул меня. Я очень горжусь этим. Я – мужчина.

Анна К. стала моей тайной женой. Иначе быть не могло никак. Мы заключены на необитаемый остров.

Снег изменился, стал как будто серее. Лютых морозов уже нет, но метели по временам возобновляются…

Первая минута: ощущение прикосновения к шее. Это прикосновение становится теплым и расширяется. Во вторую минуту внезапно проходит холодная волна под ложечкой, а вслед

за этим начинается необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности. Абсолютно все неприятные ощущения прекращаются. Это высшая точка проявления духовной силы человека. И если б я не был испорчен медицинским образованием, я бы сказал, что нормально человек может работать только после укола морфием. В самом деле: куда к черту годится человек, если малейшая невралгийка может выбить его совершенно из седла!

Анна К. боится. Успокоил ее, сказав, что я с детства отличался громаднейшей силой воли.

2 марта.

Слухи о чем-то грандиозном. Будто бы свергли Николая II.

Я ложусь спать очень рано. Часов в девять. И сплю сладко.

10 марта.

Там происходит революция. День стал длиннее, а сумерки как будто чуть голубоватее.

Таких снов на рассвете я еще никогда не видел. Это двойные сны.

Причем основной из них, я бы сказал, стеклянный. Он прозрачен.

Так что вот, – я вижу жутко освещенную рампу, из нее пышет разноцветная лента огней. Амнерис, колыша зеленым пером, поет. Оркестр, совершенно неземной, необыкновенно полнозвучен. Впрочем, я не могу передать это словами. Одним словом, в нормальном сне музыка беззвучна… (в нормальном? Еще вопрос, какой сон нормальнее! Впрочем, шучу…) беззвучна, а в моем сне она слышна совершенно небесно. И, главное, что я по своей воле могу усилить или ослабить музыку. Помнится, в «Войне и мире» описано, как Петя Ростов в полусне переживал такое же состояние. Лев Толстой – замечательный писатель!

Теперь о прозрачности: так вот, сквозь переливающиеся краски «Аиды» выступает совершенно реально край моего письменного стола, видный из двери кабинета, лампа, лоснящийся пол и слышны, прорываясь сквозь волну оркестра Большого театра, ясные шаги, ступающие приятно, как глухие кастаньеты.

Значит, – восемь часов, – это Анна К., идет ко мне будить меня и сообщить, что делается в приемной.

Она не догадывается, что будить меня не нужно, что я все слышу и могу разговаривать с нею.

И такой опыт я проделал вчера:

Анна. Сергей Васильевич…

Я. Я слышу… (тихо музыке – «сильнее»).

Музыка – великий аккорд.

Ре-диез…

Анна. Записано двадцать человек.

Амнерис (поет).

Впрочем, этого на бумаге передать нельзя.

Вредны ли эти сны? О нет. После них я встаю сильным и бодрым. И работаю хорошо. У меня даже появился интерес, а раньше его не было. Да и мудрено, все мои мысли были сосредоточены на бывшей жене моей.

А теперь я спокоен.

Я спокоен.

19 марта.

Ночью у меня была ссора с Анной К.

– Я не буду больше приготовлять раствор.

Я стал ее уговаривать:

– Глупости, Аннуся. Что я, маленький, что ли?

– Не буду. Вы погибнете.

– Ну, как хотите. Поймите, что у меня боли в груди!

– Лечитесь.

– Где?

– Уезжайте в отпуск. Морфием не лечатся. (Потом подумала и добавила.) Я простить себе не могу, что приготовила вам тогда вторую склянку.

– Да что я, морфинист, что ли?

– Да, вы становитесь морфинистом.

– Так вы не пойдете?

– Нет.

Тут я впервые обнаружил в себе неприятную способность злиться и, главное, кричать на людей, когда я не прав.

Впрочем, это не сразу. Пошел в спальню. Посмотрел. На донышке склянки чуть плескалось. Набрал в шприц, – оказалось четверть шприца. Швырнул шприц, чуть не разбил его и сам задрожал. Бережно поднял, осмотрел, – ни одной трещинки. Просидел в спальне около 20 минут. Выхожу, – ее нет.

Ушла.

Представьте себе, – не вытерпел, пошел к ней. Постучал в ее флигеле в освещенное окно. Она вышла, закутавшись в платок, на крылечко. Ночь тихая, тихая. Снег рыхл. Где-то далеко в небе тянет весной.

– Анна Кирилловна, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки.

Она шепнула:

– Не дам.

– Товарищ, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки. Я говорю вам, как врач.

Вижу в сумраке, ее лицо изменилось, очень побелело, а глаза углубились, провалились, почернели. И она ответила голосом, от которого у меня в душе шелохнулась жалость.

Но тут же злость опять наплыла на меня.

Она:

– Зачем, зачем вы так говорите? Ах, Сергей Васильевич, я – жалеючи вас.

И тут высвободила руки из-под платка, и я вижу, что ключи у нее в руках. Значит, она вышла ко мне и захватила их.

Я (грубо):

– Дайте ключи!

И вырвал их из ее рук.

И пошел к белеющему корпусу больницы по гнилым, прыгающим мосткам.

В душе у меня ярость шипела, и прежде всего потому, что я ровным счетом понятия никакого не имею о том, как готовить раствор морфия для подкожного впрыскивания. Я врач, а не фельдшерица!

Шел и трясся.

И слышу: сзади меня, как верная собака, пошла она. И нежность взмыла во мне, но я задушил ее. Повернулся и, оскалившись, говорю:

– Сделаете или нет?

И она взмахнула рукою, как обреченная, «все равно, мол», и тихо ответила:

– Давайте сделаю…

…Через час я был в нормальном состоянии. Конечно, я попросил у нее извинения за бессмысленную грубость. Сам не знаю, как со мной это произошло. Раньше я был вежливым человеком.

Она отнеслась к моему извинению странно. Опустилась на колени, прижалась к моим рукам и говорит:

– Я не сержусь на вас. Нет. Я теперь уже знаю, что вы пропали. Уж знаю. И я себя проклинаю за то, что я тогда сделала вам впрыскивание.

Я успокоил ее как мог, уверив, что она здесь ровно ни при чем, что я сам отвечаю за свои поступки. Обещал ей, что с завтрашнего дня начну серьезно отвыкать, уменьшая дозу.

– Сколько вы сейчас впрыснули?

– Вздор. Три шприца однопроцентного раствора.

Она сжала голову и замолчала.

– Да не волнуйтесь вы!..

В сущности говоря, мне понятно ее беспокойство. Действительно, morphium hidrochloricum грозная штука,

привычка создается очень быстро. Но маленькая привычка ведь не есть морфинизм?..

…По правде говоря, эта женщина единственный верный настоящий мой человек. И, в сущности, она и должна быть моей женой. Ту я забыл. Забыл. И все-таки спасибо за это морфию…

8-го апреля 1917 года.

Это мучение.

9 апреля.

Весна ужасна.

Черт в склянке. Кокаин – черт в склянке!

Действие его таково:

При впрыскивании одного шприца двухпроцентного раствора почти мгновенно наступает состояние спокойствия, тотчас переходящее в восторг и блаженство. И это продолжается только одну, две минуты. И потом все исчезает бесследно, как не было. Наступает боль, ужас, тьма. Весна гремит, черные птицы перелетают с обнаженных ветвей на ветви, а вдали лес щетиной, ломаной и черной, тянется к небу, и за ним горит, охватив четверть неба, первый весенний закат.

Я меряю шагами одинокую пустую большую комнату в моей докторской квартире по диагонали от дверей к окну, от окна к дверям. Сколько таких прогулок я могу сделать? Пятнадцать или шестнадцать – не больше. А затем мне нужно поворачивать и идти в спальню. На марле лежит шприц рядом со склянкой. Я беру его и, небрежно смазав йодом исколотое бедро, всаживаю иголку в кожу. Никакой боли нет. О, наоборот: я предвкушаю эйфорию, которая сейчас возникнет. И вот она возникает. Я узнаю об этом потому, что звуки гармошки, на которой играет обрадовавшийся весне сторож Влас на крыльце, рваные, хриплые звуки гармошки, глухо летящие сквозь стекло ко мне, становятся ангельскими голосами, а грубые басы в раздувающихся мехах гудят, как небесный хор. Но вот мгновение, и кокаин в крови по какому-то таинственному закону, не описанному ни в какой из фармакологий, превращается во что-то новое. Я знаю: это смесь дьявола с моей кровью. И никнет Влас на крыльце, и я ненавижу его, а закат, беспокойно громыхая, выжигает мне внутренности. И так несколько раз подряд, в течение вечера, пока я не пойму, что я отравлен. Сердце начинает стучать так, что я чувствую его в руках, в висках… а потом оно проваливается в бездну, и бывают секунды, когда я мыслю о том, что более доктор Поляков не вернется к жизни…

13 апреля.

Я – несчастный доктор Поляков, заболевший в феврале этого года морфинизмом, предупреждаю всех, кому выпадет на долю

такая же участь, как и мне, не пробовать заменить морфий кокаином. Кокаин – сквернейший и коварнейший яд. Вчера Анна еле отходила меня камфарой, а сегодня я – полутруп…

6-го мая 1917 года.

Давненько я не брался за свой дневник. А жаль. По сути дела, это не дневник, а история болезни, и у меня, очевидно, профессиональное тяготение к моему единственному другу в мире (если не считать моего скорбного и часто плачущего друга Анны).

Итак, если вести историю болезни, то вот. Я впрыскиваю себе морфий два раза в сутки: в 5 часов дня (после обеда) и в 12 час. ночи перед сном.

Раствор трехпроцентный: два шприца. Следовательно, я получаю за один раз – 0,06.

Порядочно!

Прежние мои записи несколько истеричны. Ничего особенно страшного нет. На работоспособности моей это ничуть не отражается. Напротив, весь день я живу ночным впрыскиванием накануне. Я великолепно справляюсь с операциями, я безукоризненно внимателен к рецептуре и ручаюсь моим врачебным словом, что мой морфинизм вреда моим пациентам не причинил. Надеюсь, и не причинит. Но другое меня мучает. Мне все кажется, что кто-нибудь узнает о моем пороке. И мне тяжело на приеме чувствовать на своей спине тяжелый пытливый взгляд моего ассистента-фельдшера.

Вздор! Он не догадывается. Ничто не выдаст меня. Зрачки меня могут предать лишь вечером, а вечером я никогда не сталкиваюсь с ним.

Страшнейшую убыль морфия в нашей аптеке я пополнил, съездив в уезд. Но и там мне пришлось пережить неприятные минуты. Заведующий складом взял мое требование, в которое я вписал предусмотрительно и всякую другую чепуху, вроде кофеина, которого у нас сколько угодно, и говорит:

– 40 грамм морфия?

И я чувствую, что прячу глаза, как школьник. Чувствую, что краснею…

Он говорит:

– Нет у нас такого количества. Граммов десять дам.

И действительно, у него нет, но мне кажется, что он проник в мою тайну, что он щупает и сверлит меня глазами, и я волнуюсь и мучаюсь.

Нет, зрачки, только зрачки опасны, и поэтому поставлю себе за правило: вечером с людьми не сталкиваться. Удобнее, впрочем, места, чем мой участок, для этого не найти, вот уже более

полугода я никого не вижу, кроме моих больных. А им до меня дела нет никакого.

18 мая.

Душная ночь. Будет гроза. Брюхо черное вдали за лесом растет и пучится. Вон и блеснуло бледно и тревожно. Идет гроза.

Книга у меня перед глазами, и в ней написано по поводу воздержания от морфия:

«…большое беспокойство, тревожное тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинация и небольшая степень затемнения сознания…»

Галлюцинаций я не испытывал, но по поводу остального я могу сказать: о, какие тусклые, казенные, ничего не говорящие слова!

«Тоскливое состояние»!..

Нет, я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю врачей, чтобы они были жалостливее к своим пациентам. Не «тоскливое состояние», а смерть медленная овладевает морфинистом, лишь только вы на час или два лишите его морфия. Воздух не сытный, его глотать нельзя… в теле нет клеточки, которая бы не жаждала… Чего? Этого нельзя ни определить, ни объяснить. Словом, человека нет. Он выключен. Движется, тоскует, страдает труп. Он ничего не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. Морфия!

Смерть от жажды – райская, блаженная смерть по сравнению с жаждой морфия. Так заживо погребенный, вероятно, ловит последние ничтожные пузырьки воздуха в гробу и раздирает кожу на груди ногтями. Так еретик на костре стонет и шевелится, когда первые языки пламени лижут его ноги…

Смерть – сухая, медленная смерть…

Вот что кроется под этими профессорскими словами «тоскливое состояние».

Больше не могу. И вот взял и сейчас уколол себя. Вздох. Еще вздох.

Легче. А вот… вот… мятный холодок под ложечкой…

Три шприца 3 %-ного раствора. Этого мне хватит до полуночи…

Вздор. Эта запись – вздор. Не так страшно. Рано или поздно я брошу!.. А сейчас спать, спать.

Этою глупою борьбою с морфием я только мучаю и ослабляю себя.

(Далее в тетради вырезано десятка два страниц.)

…ря

…ять рвота в 4 час. 30 минут.

Когда мне полегчает, запишу свои ужасные впечатления.

14 ноября 1917 г.

Итак, после побега из Москвы из лечебницы доктора… (фамилия тщательно зачеркнута) я вновь дома. Дождь льет пеленою и скрывает от меня мир. И пусть скроет его от меня. Он не нужен мне, как и я никому не нужен в мире. Стрельбу и переворот я пережил еще в лечебнице. Но мысль бросить это лечение воровски созрела у меня еще до боя на улицах Москвы. Спасибо морфию за то, что он сделал меня храбрым. Никакая стрельба мне не страшна. Да и что вообще может испугать человека, который думает только об одном – о чудных, божественных кристаллах. Когда фельдшерица, совершенно терроризованная пушечным буханием…

(Здесь страница вырвана.)

…вал эту страницу, чтоб никто не прочитал позорного описания того, как человек с дипломом бежал воровски и трусливо и крал свой собственный костюм.

Да что костюм!

Рубашку я захватил больничную. Не до того было. На другой день, сделав укол, ожил и вернулся к доктору Н. Он встретил меня жалостливо, но сквозь эту жалость сквозило все-таки презрение. И это напрасно. Ведь он – психиатр и должен понимать, что я не всегда владею собой. Я болен. Что ж презирать меня? Я вернул больничную рубашку.

Он сказал:

– Спасибо, – и добавил: – Что же вы теперь думаете делать?

Я сказал бойко (я был в этот момент в состоянии эйфории):

– Я решил вернуться к себе в глушь, тем более, что отпуск мой истек. Я очень благодарен вам за помощь, я чувствую себя значительно лучше. Буду продолжать лечиться у себя.

Ответил он так:

– Вы ничуть не чувствуете себя лучше. Мне, право, смешно, что вы говорите это мне. Ведь одного взгляда на ваши зрачки достаточно. Ну, кому вы говорите?..

– Я, профессор, не могу сразу отвыкнуть… в особенности теперь, когда происходят все эти события… меня совершенно издергала стрельба…

– Она кончилась. Вот новая власть. Ложитесь опять.

Тут я вспомнил все… холодные коридоры… пустые, масляной краской выкрашенные стены… и я ползу, как собака с перебитой ногой… чего-то жду… Чего? Горячей ванны?.. Укольчика в 0,005 морфия. Дозы, от которой, правда, не умирают… но только… а вся тоска остается, лежит бременем, как и лежала… Пустые ночи, рубашку, которую я изорвал на себе, умоляя, чтобы меня выпустили?..

Нет. Нет. Изобрели морфий, вытянули его из высохших щелкающих головок божественного растения, ну так найдите же способ и лечить без мучений! Я упрямо покачал головой. Тут он приподнялся, и я вдруг испуганно бросился к двери. Мне показалось, что он хочет запереть за мной дверь и силою удержать меня в лечебнице…

Профессор побагровел.

– Я не тюремный надзиратель, – не без раздражения молвил он, – и у меня не Бутырки. Сидите спокойно. Вы хвастались, что вы совершенно нормальны, две недели назад. А между тем… – он выразительно повторил мой жест испуга, – я вас не держу-с.

– Профессор, верните мне мою расписку. Умоляю вас. – И даже голос мой жалостливо дрогнул.

– Пожалуйста.

Он щелкнул ключом в столе и отдал мне мою расписку (о том, что я обязуюсь пройти весь двухмесячный курс лечения и что меня могут задержать в лечебнице и т. д., словом, обычного типа).

Дрожащей рукой я принял записку и спрятал, пролепетав:

– Благодарю вас.

Затем встал, чтобы уходить. И пошел.

– Доктор Поляков! – раздалось мне вслед. Я обернулся, держась за ручку двери. – Вот что, – заговорил он, – одумайтесь. Поймите, что вы все равно попадете в психиатрическую лечебницу, ну, немножко попозже… и притом попадете в гораздо более плохом состоянии. Я с вами считался все-таки как с врачом. А тогда вы придете уже в состоянии полного душевного развала. Вам, голубчик, в сущности, и практиковать нельзя и, пожалуй, преступно не предупредить ваше место службы.

Я вздрогнул и ясно почувствовал, что краска сошла у меня с лица (хотя и так ее очень немного у меня).

– Я, – сказал я глухо, – умоляю вас, профессор, ничего никому не говорить… Что ж, меня удалят со службы… Ославят больным… За что вы хотите мне это сделать?

– Идите, – досадливо крикнул он, – идите. Ничего не буду говорить. Все равно вас вернут…

Я ушел и, клянусь, всю дорогу дергался от боли и стыда… Почему?..

Очень просто. Ах, мой друг, мой верный дневник. Ты-то ведь не выдашь меня? Дело не в костюме, а в том, что я в лечебнице украл морфий. 3 кубика в кристаллах и 10 грамм однопроцентного раствора.

Меня интересует не только это, а еще вот что. Ключ в шкафу торчал. Ну, а если бы его не было? Взломал бы я шкаф или нет?

А? По совести?

Взломал бы.

Итак, доктор Поляков – вор. Страницу я успею вырвать.

Ну, насчет практики он все-таки пересолил. Да, я дегенерат. Совершенно верно. У меня начался распад моральной личности. Но работать я могу, я никому из моих пациентов не могу причинить зла или вреда.

Да, почему украл? Очень просто. Я решил, что во время боев и всей кутерьмы, связанной с переворотом, я нигде не достану морфия. Но когда утихло, я достал еще в одной аптеке на окраине – 15 грамм однопроцентного раствора – вещь для меня бесполезная и нудная (9 шприцов придется впрыскивать!). И унижаться еще пришлось. Фармацевт потребовал печать, смотрел на меня хмуро и подозрительно. Но зато на другой день я, придя в норму, получил без всякой задержки в другой аптеке 20 грамм в кристаллах – написал рецепт для больницы (попутно, конечно, выписал кофеин и аспирин). Да в конце концов, почему я должен прятаться, бояться? В самом деле, точно на лбу у меня написано, что я – морфинист? Кому какое дело, в конце концов?

Да и велик ли распад? Привожу в свидетели эти записи. Они отрывочны, но ведь я же не писатель! Разве в них какие-нибудь безумные мысли? По-моему, я рассуждаю совершенно здраво.

У морфиниста есть одно счастье, которое у него никто не может отнять, – способность проводить жизнь в полном одиночестве. А одиночество – это важные, значительные мысли, это созерцание, спокойствие, мудрость…

Ночь течет, черна и молчалива. Где-то оголенный лес, за ним речка, холод, осень. Далеко, далеко взъерошенная буйная Москва. Мне ни до чего нет дела, мне ничего не нужно, и меня никуда не тянет.

Гори, огонь, в моей лампе, гори тихо, я хочу отдыхать после московских приключений, я хочу их забыть.

И забыл.

Забыл.

18-го ноября.

Заморозки. Подсохло. Я вышел пройтись к речке по тропинке, потому что я почти никогда не дышу воздухом.

Распад личности – распадом, но все же я делаю попытки воздерживаться от него. Например, сегодня утром я не делал впрыскивания. (Теперь я делаю впрыскивания три раза в день по 3 шприца четырехпроцентного раствора.) Неудобно. Мне жаль Анны. Каждый новый процент убивает ее. Мне жаль. Ах, какой человек!

Да… так… вот… когда стало плохо, я решил все-таки

помучиться (пусть бы полюбовался на меня профессор Н.) и оттянуть укол и пошел к реке.

Какая пустыня. Ни звука, ни шороха. Сумерек еще нет, но они где-то притаились и ползут по болотцам, по кочкам, меж пней… идут, идут к левковской больнице… и я ползу, опираясь на палку (сказать по правде, я несколько ослабел в последнее время).

И вот вижу, от речки по склону летит ко мне быстро и ножками не перебирает под своей пестрой юбкой колоколом старушонка с желтыми волосами… В первую минуту я ее не понял и даже не испугался. Старушонка как старушонка. Странно – почему на холоде старушонка простоволосая, в одной кофточке?.. А потом: откуда старушонка, какая? Кончится у нас прием в Левкове, разъедутся последние мужицкие сани, и на десять верст кругом – никого. Туманцы, болотца, леса! А потом вдруг пот холодный потек у меня по спине – понял! Старушонка не бежит, а именно летит, не касаясь земли. Хорошо? Но не это вырвало у меня крик, а то, что в руках у старушонки вилы. Почему я так испугался? Почему? Я упал на одно колено, простирая руки, закрываясь, чтобы не видеть ее, потом повернулся и, ковыляя, побежал к дому, как к месту спасения, ничего не желая, кроме того, чтобы у меня не разрывалось сердце, чтобы я скорее вбежал в теплые комнаты, увидел живую Анну… и морфию…

И я прибежал.

Вздор. Пустая галлюцинация. Случайная галлюцинация.

19-го ноября.

Рвота. Это плохо.

Ночной мой разговор с Анной 21-го.

Анна. Фельдшер знает.

Я. Неужели? Все равно. Пустяки.

Анна. Если не уедешь отсюда в город, я удавлюсь. Ты слышишь? Посмотри на свои руки, посмотри.

Я. Немного дрожат. Это ничуть не мешает мне работать.

Анна. Ты посмотри – они же прозрачны. Одна кость и кожа… Погляди на свое лицо… Слушай, Сережа, уезжай, заклинаю тебя, уезжай…

Я. А ты?

Анна. Уезжай. Уезжай. Ты погибаешь.

Я. Ну, это сильно сказано. Но я действительно сам не пойму, почему так быстро я ослабел? Ведь неполный год, как я болею. Видно, такая конституция у меня.

Анна (печально). Что тебя может вернуть к жизни? Может быть, эта твоя Амнерис – жена?

Я. О нет. Успокойся. Спасибо морфию, он меня избавил от

нее. Вместо нее – морфий.

Анна. Ах ты, боже… что мне делать?..

Я думал, что только в романах бывают такие, как эта Анна. И если я когда-нибудь поправлюсь, я навсегда соединю свою судьбу с нею. Пусть тот не вернется из Германии.

27-го декабря.

Давно я не брал в руки тетрадь. Я закутан, лошади ждут. Бомгард уехал с Гореловского участка, и меня послали заменить его. На мой участок – женщина-врач.

Анна – здесь… Будет приезжать ко мне…

Хоть 30 верст.

Решили твердо, что с 1 января я возьму отпуск на один месяц по болезни – и к профессору в Москву. Опять я дам подписку, и месяц я буду страдать у него в лечебнице нечеловеческой мукой.

Прощай, Левково. Анна, до свиданья.

1918 год

Январь.

Я не поехал. Не могу расстаться с моим кристаллическим растворимым божком.

Во время лечения я погибну.

И все чаще и чаще мне приходит мысль, что лечиться мне не нужно.

15-го января.

Рвота утром.

Три шприца четырехпроцентного раствора в сумерки.

Три шприца четырехпроцентного раствора ночью.

16-го января.

Операционный день, потому большое воздержание – с ночи до 6 часов вечера.

В сумерки – самое ужасное время – уже на квартире слышал отчетливо голос, монотонный и угрожающий, который повторял:

– Сергей Васильевич. Сергей Васильевич.

После впрыскивания все прошло сразу.

17-го января.

Вьюга – нет приема. Читал во время воздержания учебник психиатрии, и он произвел на меня ужасающее впечатление. Я погиб, надежды нет.

Шорохов пугаюсь, люди мне ненавистны во время воздержания. Я их боюсь. Во время эйфории я их всех люблю, но предпочитаю одиночество.

Здесь нужно быть осторожным – здесь фельдшер и две акушерки. Нужно быть очень внимательным, чтобы не выдать себя. Я стал опытен и не выдам. Никто не узнает, пока у меня есть запас морфия. Растворы я готовлю сам или посылаю Анне

заблаговременно рецепт. Один раз она сделала попытку (нелепую) подменить пятипроцентный двухпроцентным. Сама привезла его из Левкова в стужу и буран.

И из-за этого у нас была тяжелая ссора ночью. Убедил ее не делать этого. Здешнему персоналу я сообщил, что болен. Долго ломал голову, какую бы болезнь придумать. Сказал, что у меня ревматизм ног и тяжелая неврастения. Они предупреждены, что я уезжаю в феврале в отпуск в Москву лечиться. Дело идет гладко. В работе никаких сбоев. Избегаю оперировать в те дни, когда у меня начинается неудержимая рвота с икотой. Поэтому пришлось приписать и катар желудка. Ах, слишком много болезней у одного человека!

Персонал здешний жалостлив и сам гонит меня в отпуск.

Внешний вид: худ, бледен восковой бледностью.

Брал ванну и при этом взвесился на больничных весах. В прошлом году я весил 4 пуда, теперь 3 пуда 15 фунтов. Испугался, взглянув на стрелку, потом это прошло.

На предплечьях непрекращающиеся нарывы, то же на бедрах. Я не умею стерильно готовить растворы, кроме того, раза три я впрыскивал некипяченым шприцем, очень спешил перед поездкой.

Это недопустимо.

18-го января.

Была такая галлюцинация: жду в черных окнах появления каких-то бледных людей. Это невыносимо. Одна штора только. Взял в больнице марлю и завесил. Предлога придумать не мог.

Ах, черт возьми! Да почему, в конце концов, каждому своему действию я должен придумывать предлог? Ведь действительно это мучение, а не жизнь!

Гладко ли я выражаю свои мысли?

По-моему, гладко.

Жизнь? Смешно!

19-го января.

Сегодня во время антракта на приеме, когда мы отдыхали и курили в аптеке, фельдшер, крутя порошки, рассказывал (почему-то со смехом), как одна фельдшерица, болея морфинизмом и не имея возможности достать морфий, принимала по полрюмки опийной настойки. Я не знал, куда девать глаза во время этого мучительного рассказа. Что тут смешного? Мне он ненавистен. Что смешного в этом? Что?

Я ушел из аптеки воровской походкой.

«Что вы видите смешного в этой болезни?..»

Но удержался, удерж…

В моем положении не следует быть особенно заносчивым с

людьми.

Ах, фельдшер. Он так же жесток, как эти психиатры, не умеющие ничем, ничем, ничем помочь больному.

Ничем.

Ничем.

Предыдущие строки написаны во время воздержания, и в них много несправедливого.

Сейчас лунная ночь. Я лежу после припадка рвоты, слабый. Руки не могу поднять высоко и черчу карандашом свои мысли. Они чисты и горды. Я счастлив на несколько часов. Впереди у меня сон. Надо мною луна и на ней венец. Ничто не страшно после уколов.

1 февраля.

Анна приехала. Она желта, больна.

Доконал я ее. Доконал. Да, на моей совести большой грех.

Дал ей клятву, что уезжаю в середине февраля.

Исполню ли ее?

Да. Исполню.

Е(сли). т(олько). буду жив.

3 февраля.

Итак: горка. Ледяная и бесконечная, как та, с которой в детстве сказочного Кая уносили сани. Последний мой полет по этой горке, и я знаю, что ждет меня внизу. Ах, Анна, большое горе будет вскоре, если ты любила меня…

11 февраля.

Я решил так. Обращусь к Бомгарду. Почему именно к нему? Потому что он не психиатр, потому что молод и товарищ по университету. Он здоров, силен, но мягок, если я прав. Помню его. Быть может, он над… я в нем найду участливость. Он что-нибудь придумает. Пусть отвезет меня в Москву. Я не могу к нему ехать. Отпуск я получил уже. Лежу. В больницу не хожу.

На фельдшера я наклеветал. Ну, смеялся… Неважно. Он приходил навещать меня. Предлагал выслушать.

Я не позволил. Опять предлоги для отказа? Не хочу выдумывать предлога.

Записка Бомгарду отправлена.

Люди! Кто-нибудь поможет мне?

Патетически я стал восклицать. И если кто-нибудь прочел бы это, подумал – фальшь. Но никто не прочтет.

Перед тем как написать Бомгарду, все вспоминал. В особенности всплыл вокзал в Москве в ноябре, когда я убегал из Москвы. Какой ужасный вечер. Краденый морфий я впрыскивал в уборной… Это мучение. В двери ломились, голоса гремят, как железные, ругают за то, что я долго занимаю место, и руки

прыгают, и прыгает крючок, того и гляди, распахнется дверь…

С тех пор и фурункулы у меня.

Плакал ночью, вспомнив это.

12-го ночью.

И опять плакал. К чему эта слабость и мерзость ночью?

1918 года 13 февраля на рассвете в Гореловке.

Могу себя поздравить: я без укола уже четырнадцать часов! 14! Это немыслимая цифра. Светает мутно и беловато. Сейчас я буду совсем здоров?

По зрелому размышлению: Бомгард не нужен мне и не нужен никто. Позорно было бы хоть минуту длить свою жизнь. Такую – нет, нельзя. Лекарство у меня под рукой. Как я раньше не догадался?

Ну-с, приступаем. Я никому ничего не должен. Погубил я только себя. И Анну. Что же я могу сделать?

Время залечит, как пела Амнер. С ней, конечно, просто и легко.

Тетрадь Бомгарду. Все…

4

На рассвете 14-го февраля 1918 года в далеком маленьком городке я прочитал эти записки Сергея Полякова. И здесь они полностью, без всяких каких бы то ни было изменений. Я не психиатр, с уверенностью не могу сказать, поучительны ли, нужны ли? По-моему, нужны.

Теперь, когда прошло десять лет, – жалость и страх, вызванные записями, ушли. Это естественно, но, перечитав эти записки теперь, когда тело Полякова давно истлело, а память о нем совершенно исчезла, я сохранил к ним интерес. Может быть, они нужны? Беру на себя смелость решить это утвердительно. Анна К. умерла в 1922 г. от сыпного тифа, на том же участке, где работала. Амнерис – первая жена Полякова – за границей. И не вернется.

Могу ли я печатать записки, подаренные мне?

Могу. Печатаю. Доктор Бомгард.

Крещение поворотом

Побежали дни в Н-ской больнице, и я стал понемногу привыкать к новой жизни.

В деревнях по-прежнему мяли лен, дороги оставались непроезжими, и на приемах у меня бывало не больше пяти человек. Вечера были совершенно свободны, и я посвящал их разбору библиотеки, чтению учебников по хирургии и долгим одиноким чаепитиям у тихо поющего самовара.

Целыми днями и ночами лил дождь, и капли неумолчно стучали по крыше, и хлестала под окном вода, стекая по желобу в кадку. На дворе была слякоть, туман, черная мгла, в которой тусклыми, расплывчатыми пятнами светились окна фельдшерского домика и керосиновый фонарь у ворот.

В один из таких вечеров я сидел у себя в кабинете над атласом по топографической анатомии. Кругом была полная тишина, и только изредка грызня мышей в столовой за буфетом нарушала ее.

Я читал до тех пор, пока не начали слипаться отяжелевшие веки. Наконец зевнул, отложил в сторону атлас и решил ложиться. Потягиваясь и предвкушая мирный сон под шум и стук дождя, перешел в спальню, разделся и лег.

Не успел я коснуться подушки, как передо мной в сонной мгле всплыло лицо Анны Прохоровой, семнадцати лет, из деревни Торопово. Анне Прохоровой нужно было рвать зуб. Проплыл бесшумно фельдшер Демьян Лукич с блестящими щипцами в руках. Я вспомнил, как он говорит «таковой» вместо «такой» – из любви к высокому стилю, усмехнулся и заснул.

Однако не позже чем через полчаса я вдруг проснулся, словно кто-то дернул меня, сел и, испуганно всматриваясь в темноту, стал прислушиваться.

Кто-то настойчиво и громко барабанил в наружную дверь, и удары эти показались мне сразу зловещими.

В квартиру стучали.

Стук замолк, загремел засов, послышался голос кухарки, чей-то неясный голос в ответ, затем кто-то, скрипя, поднялся по лестнице, тихонько прошел кабинет и постучался в спальню.

– Кто там?

– Это я, – ответил мне почтительный шепот, – я, Аксинья, сиделка.

– В чем дело?

– Анна Николаевна прислала за вами, велят вам, чтоб вы в больницу шли поскорей.

– А что случилось? – спросил я и почувствовал, как явственно екнуло сердце.

– Да женщину там привезли из Дульцева. Роды у ей неблагополучные.

«Вот оно. Началось! – мелькнуло у меня в голове, и я никак не мог попасть ногами в туфли. – А, черт! Спички не загораются. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Не всю же жизнь одни ларингиты да катары желудка».

– Хорошо. Иди, скажи, что я сейчас приду! – крикнул я и встал с постели. За дверью зашлепали шаги Аксиньи, и снова загремел засов. Сон соскочил мигом. Торопливо, дрожащими пальцами я зажег лампу и стал одеваться. Половина двенадцатого… Что там такое у этой женщины с неблагополучными родами? Гм… Неправильное положение… узкий таз… Или, может быть, еще что-нибудь хуже. Чего доброго, щипцы придется накладывать. Отослать ее разве прямо в город? Да немыслимо это! Хорошенький доктор, нечего сказать, скажут все! Да и права не имею так сделать. Нет, уж нужно делать самому. А что делать? Черт его знает. Беда будет, если потеряюсь: перед акушерками срам. Впрочем, нужно сперва посмотреть, не стоит прежде времени волноваться…

Я оделся, накинул пальто и, мысленно надеясь, что все обойдется благополучно, под дождем, по хлюпающим досочкам побежал в больницу. В полутьме у входа виднелась телега, лошадь стукнула копытом в гнилые доски.

– Вы, что ли, привезли роженицу? – для чего-то спросил у фигуры, шевелившейся возле лошади.

– Мы… как же, мы, батюшка, – жалобно ответил бабий голос.

В больнице, несмотря на глухой час, было оживление и суета. В приемной, мигая, горела лампа-«молния». В коридорчике, ведущем в родильное отделение, мимо меня прошмыгнула Аксинья с тазом. Из-за двери вдруг донесся слабый стон и замер. Я открыл дверь и вошел в родилку. Выбеленная небольшая комната была ярко освещена верхней лампой. Рядом с операционным столом на кровати, укрытая одеялом до подбородка, лежала молодая женщина. Лицо ее было искажено болезненной гримасой, а намокшие пряди волос прилипли ко лбу. Анна Николаевна, с градусником в руках, приготовляла раствор в эсмарховской кружке, а вторая акушерка, Пелагея Ивановна, доставала из шкафика чистые простыни. Фельдшер, прислонившись к стене, стоял в позе Наполеона. Увидев меня, все встрепенулись. Роженица открыла глаза, заломила руки и вновь застонала жалобно и тяжко.

– Ну-с, что такое? – спросил я и сам подивился своему тону,

настолько он был уверен и спокоен.

– Поперечное положение, – быстро ответила Анна Николаевна, продолжая подливать воду в раствор.

– Та-ак, – протянул я, нахмурясь, – что ж, посмотрим…

– Руки доктору мыть! Аксинья! – тотчас крикнула Анна Николаевна. Лицо ее было торжественно и серьезно.

Пока стекала вода, смывая пену с покрасневших от щетки рук, я задавал Анне Николаевне незначительные вопросы, вроде того, давно ли привезли роженицу, откуда она… Рука Пелагеи Ивановны откинула одеяло, и я, присев на край кровати, тихонько касаясь, стал ощупывать вздувшийся живот. Женщина стонала, вытягивалась, впивалась пальцами, комкала простыню.

– Тихонько, тихонько… потерпи, – говорил я, осторожно прикладывая руки к растянутой жаркой и сухой коже.

Собственно говоря, после того как опытная Анна Николаевна подсказала мне, в чем дело, исследование это было ни к чему не нужно. Сколько бы я ни исследовал, больше Анны Николаевны я все равно бы не узнал. Диагноз ее, конечно, был верный: поперечное положение. Диагноз налицо. Ну, а дальше?..

Хмурясь, я продолжал ощупывать со всех сторон живот и искоса поглядывал на лица акушерок. Обе они были сосредоточенно серьезны, и в глазах их я прочитал одобрение моим действиям. Действительно, движения мои были уверенны и правильны, а беспокойство свое я постарался спрятать как можно глубже и ничем его не проявлять.

– Так, – вздохнув, сказал я и приподнялся с кровати, так как смотреть снаружи было больше нечего, – поисследуем изнутри.

Одобрение опять мелькнуло в глазах Анны Николаевны.

– Аксинья!

Опять полилась вода.

«Эх, Додерляйна бы сейчас почитать!» – тоскливо думал я, намыливая руки. Увы, сделать это сейчас было невозможно. Да и чем бы помог мне в этот момент Додерляйн? Я смыл густую пену, смазал пальцы йодом. Зашуршала чистая простыня под руками Пелагеи Ивановны, и, склонившись к роженице, я стал осторожно и робко производить внутреннее исследование. В памяти у меня невольно всплыла картина операционной в акушерской клинике. Ярко горящие электрические лампы в матовых шарах, блестящий плиточный пол, всюду сверкающие краны и приборы. Ассистент в снежно-белом халате манипулирует над роженицей, а вокруг него три помощника-ординатора, врачи-практиканты, толпа студентов-кураторов. Хорошо, светло и безопасно.

Здесь же я – один-одинешенек, под руками у меня мучающаяся женщина; за нее я отвечаю. Но как ей нужно

помогать, я не знаю, потому что вблизи роды видел только два раза в своей жизни в клинике, и те были совершенно нормальны. Сейчас я делаю исследование, но от этого не легче ни мне, ни роженице, я ровно ничего не понимаю и не могу прощупать там у нее внутри.

А пора уже на что-нибудь решиться.

– Поперечное положение… раз поперечное положение, значит, нужно… нужно делать…

– Поворот на ножку, – не утерпела и словно про себя заметила Анна Николаевна.

Старый, опытный врач покосился бы на нее за то, что она суется вперед со своими заключениями… Я же человек необидчивый…

– Да, – многозначительно подтвердил я, – поворот на ножку.

И перед глазами у меня замелькали страницы Додерляйна. Поворот прямой… поворот комбинированный… поворот непрямой…

Страницы, страницы… а на них рисунки. Таз, искривленные, сдавленные младенцы с огромными головами… свисающая ручка, на ней петля.

И ведь недавно еще читал. И еще подчеркивал, внимательно вдумываясь в каждое слово, мысленно представляя себе соотношение частей и все приемы. И при чтении казалось, что весь текст отпечатывается навеки в мозгу.

А теперь только и всплывает из всего прочитанного одна фраза:

…Поперечное положение есть абсолютно неблагоприятное положение.

Что правда, то правда. Абсолютно неблагоприятное как для самой женщины, так и для врача, шесть месяцев тому назад окончившего университет.

– Что ж… будем делать, – сказал я, приподнимаясь.

Лицо у Анны Николаевны оживилось.

– Демьян Лукич, – обратилась она к фельдшеру, – приготовляйте хлороформ.

Прекрасно, что сказала, а то ведь я еще не был уверен, под наркозом ли делается операция! Да, конечно, под наркозом – как же иначе!

Но все-таки Додерляйна надо просмотреть…

И я, обмыв руки, сказал:

– Ну-с, хорошо… вы готовьте для наркоза, укладывайте ее, а я сейчас приду, возьму только папиросы дома.

– Хорошо, доктор, успеется, – ответила Анна Николаевна.

Я вытер руки, сиделка набросила мне на плечи пальто, и, не

надевая его в рукава, я побежал домой.

Дома в кабинете я зажег лампу и, забыв снять шапку, кинулся к книжному шкафу.

Вот он – Додерляйн. «Оперативное акушерство». Я торопливо стал шелестеть глянцевитыми страничками.

«…поворот всегда представляет опасную для матери операцию…»

Холодок прополз у меня по спине, вдоль позвоночника.

«…Главная опасность заключается в возможности самопроизвольного разрыва матки».

Само-про-из-воль-но-го…

«…Если акушер при введении руки в матку, вследствие недостатка простора или под влиянием сокращения стенок матки, встречает затруднения к тому, чтобы проникнуть к ножке, то он должен отказаться от дальнейших попыток к выполнению поворота…»

Хорошо. Если я сумею даже каким-нибудь чудом определить эти «затруднения» и откажусь от «дальнейших попыток», что, спрашивается, я буду делать с захлороформированной женщиной из деревни Дульцево?

Дальше:

«…Совершенно воспрещается попытка проникнуть к ножкам вдоль спинки плода…»

Примем к сведению.

«…Захватывание верхней ножки следует считать ошибкой, так как при этом легко может получиться осевое перекручивание плода, которое может дать повод к тяжелому вколачиванию плода и, вследствие этого, к самым печальным последствиям…»

«Печальным последствиям». Немного неопределенные, но какие внушительные слова! А что, если муж дульцевской женщины останется вдовцом? Я вытер испарину на лбу, собрался с силой и, минуя все эти страшные места, постарался запомнить только самое существенное: что, собственно, я должен делать, как и куда вводить руку. Но, пробегая черные строчки, я все время наталкивался на новые страшные вещи. Они били в глаза.

«…ввиду огромной опасности разрыва… …внутренний и комбинированный повороты представляют операции, которые должны быть отнесены к опаснейшим для матери акушерским операциям…»

И в виде заключительного аккорда:

«…С каждым часом промедления возрастает опасность…»

Довольно! Чтение принесло свои плоды: в голове у меня все спуталось окончательно, и я мгновенно убедился, что я не понимаю ничего, и прежде всего, какой, собственно, поворот я

буду делать: комбинированный, некомбинированный, прямой, непрямой!..

Я бросил Додерляйна и опустился в кресло, силясь привести в порядок разбегающиеся мысли… Потом глянул на часы. Черт! Оказывается, я уже двенадцать минут дома. А там ждут.

«…С каждым часом промедления…»

Часы составляются из минут, а минуты в таких случаях летят бешено. Я швырнул Додерляйна и побежал обратно в больницу.

Там все уже было готово. Фельдшер стоял у столика, приготовляя на нем маску и склянку с хлороформом. Роженица уже лежала на операционном столе. Непрерывный стон разносился по больнице.

– Терпи, терпи, – ласково бормотала Пелагея Ивановна, наклоняясь к женщине, – доктор сейчас тебе поможет…

– О-ой! Моченьки… нет… Нет моей моченьки!.. Я не вытерплю!

– Небось… небось… – бормотала акушерка, – вытерпишь! Сейчас понюхать тебе дадим… Ничего и не услышишь.

Из кранов с шумом потекла вода, и мы с Анной Николаевной стали чистить и мыть обнаженные по локоть руки. Анна Николаевна под стон и вопли рассказывала мне, как мой предшественник – опытный хирург – делал повороты. Я жадно слушал ее, стараясь не проронить ни слова. И эти десять минут дали мне больше, чем все то, что я прочел по акушерству к государственным экзаменам, на которых именно по акушерству я получил «весьма». Из отрывочных слов, неоконченных фраз, мимоходом брошенных намеков я узнал то самое необходимое, чего не бывает ни в каких книгах. И к тому времени, когда стерильной марлей я начал вытирать идеальной белизны и чистоты руки, решимость овладела мной, и в голове у меня был совершенно определенный и твердый план. Комбинированный там или некомбинированный, сейчас мне об этом и думать не нужно.

Все эти ученые слова ни к чему в этот момент. Важно одно: я должен ввести одну руку внутрь, другой рукой снаружи помогать повороту и, полагаясь не на книги, а на чувство меры, без которого врач никуда не годится, осторожно, но настойчиво низвесть одну ножку и за нее извлечь младенца.

Я должен быть спокоен и осторожен и в то же время безгранично решителен, нетруслив.

– Давайте, – приказал я фельдшеру и начал смазывать пальцы йодом.

Пелагея Ивановна тотчас же сложила руки роженицы, а фельдшер закрыл маской ее измученное лицо. Из темно-желтой

склянки медленно начал капать хлороформ. Сладкий и тошный запах начал наполнять комнату. Лица у фельдшера и акушерок стали строгими, как будто вдохновенными…

– Га-а! А!! – вдруг выкрикнула женщина. Несколько секунд она судорожно рвалась, стараясь сбросить маску.

– Держите!

Пелагея Ивановна схватила ее за руки, уложила и прижала к груди. Еще несколько раз выкрикнула женщина, отворачивая от маски лицо. Но реже… реже… Глухо забормотала:

– Га-а… Пусти! А!..

Потом все слабее, слабее. В белой комнате наступила тишина. Прозрачные капли все падали и падали на белую марлю.

– Пелагея Ивановна, пульс?

– Хорош.

Пелагея Ивановна приподняла руку женщины и выпустила» та безжизненно, как плеть, шлепнулась о простыни.

Фельдшер, сдвинув маску, посмотрел зрачок.

– Спит.

……

……

Лужа крови. Мои руки по локоть в крови. Кровяные пятна на простынях. Красные сгустки и комки марли. А Пелагея Ивановна уже встряхивает младенца и похлопывает его. Аксинья гремит ведрами, наливая в тазы воду. Младенца погружают то в холодную, то в горячую воду. Он молчит, и голова его безжизненно, словно на ниточке, болтается из стороны в сторону. Но вот вдруг не то скрип, не то вздох, а за ним слабый, хриплый первый крик.

– Жив… жив… – бормочет Пелагея Ивановна и укладывает младенца на подушку.

И мать жива. Ничего страшного, по счастью, не случилось. Вот я сам ощупываю пульс. Да, он ровный и четкий, и фельдшер тихонько трясет женщину за плечо и говорит:

– Ну, тетя, тетя, просыпайся.

Отбрасывают в сторону окровавленные простыни и торопливо закрывают мать чистой, и фельдшер с Аксиньей уносят ее в палату. Спеленутый младенец уезжает на подушке. Сморщенное коричневое личико глядит из белого ободка, и не прерывается тоненький, плаксивый писк.

Вода бежит из кранов умывальников. Анна Николаевна жадно затягивается папироской, щурится от дыма, кашляет.

– А вы, доктор, хорошо сделали поворот, уверенно так.

Я усердно тру щеткой руки, искоса взглядываю на нее: не смеется ли? Но на лице у нее искреннее выражение горделивого

удовольствия. Сердце мое полно радости. Я гляжу на кровавый и белый беспорядок кругом, на красную воду в тазу и чувствую себя победителем. Но в глубине где-то шевелится червяк сомнения.

– Посмотрим еще, что будет дальше, – говорю я.

Анна Николаевна удивленно вскидывает на меня глаза.

– Что же может быть? Все благополучно.

Я неопределенно бормочу что-то в ответ. Мне, собственно говоря, хочется сказать вот что: все ли там цело у матери, не повредил ли я ей во время операции… Это-то смутно терзает мое сердце. Но мои знания в акушерстве так неясны, так книжно отрывочны! Разрыв? А в чем он должен выразиться? И когда он даст знать о себе – сейчас же или, быть может, позже?.. Нет, уж лучше не заговаривать на эту тему.

– Ну, мало ли что, – говорю я, – не исключена возможность заражения, – повторяю я первую попавшуюся фразу из какого-то учебника.

– Ах, э-это! – спокойно тянет Анна Николаевна. – Ну, даст бог, ничего не будет. Да и откуда? Все стерильно, чисто.

* * *

Было начало второго, когда я вернулся к себе. На столе в кабинете в пятне света от лампы мирно лежал раскрытый на странице «Опасности поворота» Додерляйн. С час еще, глотая простывший чай, я сидел над ним, перелистывая страницы. И тут произошла интересная вещь: все прежние темные места сделались совершенно понятными, словно налились светом, и здесь, при свете лампы, ночью, в глуши, я понял, что значит настоящее знание.

«Большой опыт можно приобрести в деревне, – думал я, засыпая, – но только нужно читать, читать, побольше… читать…»

Пропавший глаз

Итак, прошел год. Ровно год, как я подъехал к этому самому дому. И так же, как сейчас, за окнами висела пелена дождя, и так же тоскливо никли желтые последние листья на березах. Ничто не изменилось, казалось бы, вокруг. Но я сам сильно изменился. Буду же в полном одиночестве праздновать вечер воспоминаний…

И по скрипящему полу я прошел в свою спальню и поглядел в зеркало. Да, разница велика. Год назад в зеркале, вынутом из чемодана, отразилось бритое лицо. Косой пробор украшал тогда двадцатитрехлетнюю голову. Ныне пробор исчез. Волосы были закинуты назад без особых претензий. Пробором никого не прельстишь в тридцати верстах от железного пути. То же и относительно бритья. Над верхней губой прочно утвердилась полоска, похожая на жесткую пожелтевшую зубную щеточку, щеки стали как терка, так что приятно, если зачешется предплечье во время работы, почесать его щекой. Всегда так бывает, ежели бриться не три раза в неделю, а только один раз.

Вот читал я как-то, где-то… где – забыл… об одном англичанине, попавшем на необитаемый остров. Интересный был англичанин. Досиделся он на острове даже до галлюцинаций. И когда подошел корабль к острову и лодка выбросила людей-спасателей, он – отшельник – встретил их револьверной стрельбой, приняв за мираж, обман пустого водяного поля. Но он был выбрит. Брился каждый день на необитаемом острове. Помнится, громаднейшее уважение вызвал во мне этот гордый сын Британии. И когда я ехал сюда, в чемодане у меня лежала и безопасная «Жиллет», а к ней дюжина клинков, и опасная, и кисточка. И твердо решил я, что буду бриться через день, потому что у меня здесь ничем не хуже необитаемого острова.

Но вот однажды, это было в светлом апреле, я разложил все эти английские прелести в косом золотистом луче и только что отделал до глянца правую щеку, как ворвался, топоча, как лошадь, Егорыч в рваных сапожищах и доложил, что роды происходят в кустах у заповедника над речушкой. Помнится, я полотенцем вытер левую щеку и выметнулся вместе с Егорычем. И бежали мы втроем к речке, мутной и вздувшейся среди оголенных куп лозняка, – акушерка с торзионным пинцетом и свертком марли и банкой с йодом, я с дикими, выпученными глазами, а сзади – Егорыч. Он через каждые пять шагов присаживался на землю и с проклятиями рвал левый сапог: у него отскочила подметка. Ветер летел нам навстречу, сладостный и

дикий ветер русской весны, у акушерки Пелагеи Ивановны выскочил гребешок из головы, узел волос растрепался и хлопал ее по плечу.

– Какого ты черта пропиваешь все деньги? – бормотал я на лету Егорычу. – Это свинство. Больничный сторож, а ходишь, как босяк.

– Какие ж это деньги, – злобно огрызался Егорыч, за двадцать целковых в месяц муку мученскую принимать… Ах ты, проклятая! – Он бил ногой в землю, как яростный рысак. – Деньги… тут не то что сапоги, а пить-есть не на что…

– Пить-то тебе – самое главное, – сипел я, задыхаясь, оттого и шляешься оборванцем…

У гнилого мостика послышался жалобный легкий крик, он пролетел над стремительным половодьем и угас. Мы подбежали и увидели растрепанную корчившуюся женщину. Платок с нее свалился, и волосы прилипли к потному лбу, она в мучении заводила глаза и ногтями рвала на себе тулуп. Яркая кровь заляпала первую жиденькую бледную зеленую травку, проступившую на жирной, пропитанной водой земле.

– Не дошла, не дошла, – торопливо говорила Пелагея Ивановна, и сама, простоволосая, похожая на ведьму, разматывала сверток.

И вот тут, слушая веселый рев воды, рвущейся через потемневшие бревенчатые устои моста, мы с Пелагеей Ивановной приняли младенца мужского пола. Живого приняли и мать спасли. Потом две сиделки и Егорыч, босой на левую ногу, освободившись наконец от ненавистной истлевшей подметки, перенесли родильницу в больницу на носилках.

Когда она, уже утихшая и бледная, лежала, укрытая простынями, когда младенец поместился в люльке рядом и все пришло в порядок, я спросил у нее:

– Ты что же это, мать, лучшего места не нашла рожать, как на мосту? Почему же на лошади не приехала?

Она ответила:

– Свекор лошади не дал. Пять верст, говорит, всего, дойдешь. Баба ты здоровая. Нечего лошадь зря гонять…

– Дурак твой свекор и свинья, – отозвался я.

– Ах, до чего темный народ, – жалостливо добавила Пелагея Ивановна, а потом чего-то хихикнула.

Я поймал ее взгляд, он упирался в мою левую щеку.

Я вышел и в родильной комнате заглянул в зеркало. Зеркало это показало то, что обычно показывало: перекошенную физиономию явно дегенеративного типа с подбитым как бы правым глазом. Но – и тут уже зеркало не было виновато – на

правой щеке дегенерата можно было плясать, как на паркете, а на левой тянулась густая рыжеватая поросль. Разделом служил подбородок. Мне вспомнилась книга в желтом переплете с надписью «Сахалин». Там были фотографии разных мужчин.

«Убийство, взлом, окровавленный топор, – подумал я, – десять лет… Какая все-таки оригинальная жизнь у меня на необитаемом острове. Нужно идти добриться…»

Я, вдыхая апрельский дух, приносимый с черных полей, слушал вороний грохот с верхушек берез, щурился от первого солнца, шел через двор добриваться. Это было около трех часов дня. А добрился я в девять вечера. Никогда, сколько я заметил, такие неожиданности в Мурьеве, вроде родов в кустах, не приходят в одиночку. Лишь только я взялся за скобку двери на своем крыльце, как лошадиная морда показалась в воротах, телегу, облепленную грязью, сильно тряхнуло. Правила баба и тонким голосом кричала:

– Н-но, лешай!

И с крыльца я услышал, как в ворохе тряпья хныкал мальчишка.

Конечно, у него оказалась переломленная нога, и вот два часа мы с фельдшером возились, накладывая гипсовую повязку на мальчишку, который выл подряд два часа. Потом обедать нужно было, потом лень было бриться, хотелось что-нибудь почитать, а там приползли сумерки, затянуло дали, и я, скорбно морщась, добрился. Но так как зубчатый «Жиллет» пролежал позабытым в мыльной воде – на нем навеки осталась ржавенькая полосочка, как память о весенних родах у моста.

Да… бриться два раза в неделю было ни к чему. Порою нас заносило вовсе снегом, выла несусветная метель, мы по два дня сидели в Мурьевской больнице, не посылали даже в Вознесенск за девять верст за газетами, и долгими вечерами я мерил и мерил свой кабинет и жадно хотел газет, так жадно, как в детстве жаждал куперовского «Следопыта». Но все же английские замашки не потухли вовсе на мурьевском необитаемом острове, и время от времени я вынимал из черного футлярчика блестящую игрушку и вяло брился, выходил гладкий и чистый, как гордый островитянин. Жаль лишь, что некому было полюбоваться на меня.

Позвольте… да… ведь был и еще случай, когда, помнится, вынул бритву и только что Аксинья принесла в кабинет выщербленную кружку с кипятком, как в дверь грозно застучали и вызвали меня. И мы с Пелагеей Ивановной уехали в страшную даль, закутанные в бараньи тулупы, пронеслись, как черный призрак, состоящий из коней, кучера и нас, сквозь взбесившийся

белый океан. Вьюга свистела, как ведьма, выла, плевалась, хохотала, все к черту исчезло, и я испытывал знакомое похолодание где-то в области солнечного сплетения при мысли, что собьемся мы с пути в этой сатанинской вертящейся мгле и пропадем за ночь все: и Пелагея Ивановна, и кучер, и лошади, и я. Еще, помню, возникла у меня дурацкая мысль о том, что когда мы будем замерзать и вот нас наполовину занесет снегом, я и акушерке, и себе, и кучеру впрысну морфий… Зачем?.. А так, чтобы не мучиться… «Замерзнешь ты, лекарь, и без морфия превосходнейшим образом, – помнится, отвечал мне сухой и здоровый голос, – ништо тебе…» У-гу-гу!.. Ха-ссс!.. – свистала ведьма, и нас мотало, мотало в санях… Ну, напечатают там в столичной газете на задней странице, что вот, мол, так и так, погибли при исполнении служебных обязанностей лекарь такой-то, а равно Пелагея Ивановна с кучером и парою коней. Мир праху их в снежном море. Тьфу… что в голову лезет, когда тебя так называемый долг службы несет и несет…

Мы не погибли, не заблудились, а приехали в село Грищево, где я стал производить второй поворот на ножку в моей жизни. Родильница была жена деревенского учителя, и пока мы по локоть в крови и по глаза в поту при свете лампы бились с Пелагеей Ивановной над поворотом, слышно было, как за дощатой дверью стонал и мотался по черной половине избы муж. Под стоны родильницы и под его неумолчные всхлипывания я ручку младенцу, по секрету скажу, сломал. Младенчика получили мы мертвого. Ах, как у меня тек пот по спине! Мгновенно мне пришло в голову, что явится кто-то грозный, черный и огромный, ворвется в избу, скажет каменным голосом: «Ага. Взять у него диплом!»

Я, угасая, глядел на желтое мертвое тельце и восковую мать, лежавшую недвижно, в забытьи от хлороформа. В форточку била струя метели, мы открыли ее на минуту, чтобы разредить удушающий запах хлороформа, и струя эта превращалась в клуб пара. Потом я захлопнул форточку и снова вперил взор в мотающуюся беспомощно ручку в руках акушерки. Ах, не могу я выразить того отчаяния, в котором я возвращался домой один, потому что Пелагею Ивановну я оставил ухаживать за матерью. Меня швыряло в санях в поредевшей метели, мрачные леса смотрели укоризненно, безнадежно, отчаянно. Я чувствовал себя побежденным, разбитым, задавленным жестокой судьбой. Она меня бросила в эту глушь и заставила бороться одного, без всякой поддержки и указаний. Какие неимоверные трудности мне приходится переживать. Ко мне могут привести какой угодно каверзный или сложный случай, чаще всего хирургический, и я

должен стать к нему лицом, своим небритым лицом, и победить его. А если не победишь, вот и мучайся, как сейчас, когда валяет тебя по ухабам, а сзади остался трупик младенца и мамаша. Завтра, лишь утихнет метель, Пелагея Ивановна привезет ее ко мне в больницу, и очень большой вопрос – удастся ли мне отстоять ее? Да и как мне отстоять ее? Как понимать это величественное слово? В сущности, действую я наобум, ничего не знаю. Ну, до сих пор везло, сходили с рук благополучно изумительные вещи, а сегодня не свезло. Ах, в сердце щемит от одиночества, от холода, оттого, что никого нет кругом. А может, я еще и преступление совершил – ручку-то. Поехать куда-нибудь, повалиться кому-нибудь в ноги, сказать, что вот, мол, так и так, я, лекарь такой-то, ручку младенцу переломил. Берите у меня диплом, недостоин я его, дорогие коллеги, посылайте меня на Сахалин. Фу, неврастеник!

Я забился на дно саней, съежился, чтобы холод не жрал меня так страшно, и самому себе казался жалкой собачонкой, псом, бездомным и неумелым.

Долго, долго ехали мы, пока не сверкнул маленький, но такой радостный, вечно родной фонарь у ворот больницы. Он мигал, таял, вспыхивал и опять пропадал и манил к себе. И при взгляде на него несколько полегчало в одинокой душе, и когда фонарь уже прочно утвердился перед моими глазами, когда он рос и приближался, когда стены больницы превратились из черных в беловатые, я, въезжая в ворота, уже говорил самому себе так:

«Вздор – ручка. Никакого значения не имеет. Ты сломал ее уже мертвому младенцу. Не о ручке нужно думать, а о том, что мать жива».

Фонарь меня подбодрил, знакомое крыльцо тоже, но все же уже внутри дома, поднимаясь к себе в кабинет, ощущая тепло от печки, предвкушая сон, избавитель от всех мучений, бормотал так:

«Так-то оно так, но все-таки страшно и одиноко. Очень одиноко».

Бритва лежала на столе, а рядом стояла кружка с простывшим кипятком. Я с презрением швырнул бритву в ящик. Очень, очень мне нужно бриться…

* * *

И вот целый год. Пока он тянулся, он казался многоликим, многообразным, сложным и страшным, хотя теперь я понимаю,

что он пролетел, как ураган. Но вот в зеркале я смотрю и вижу след, оставленный им на лице. Глаза стали строже и беспокойнее, а рот увереннее и мужественнее, складка на переносице останется на всю жизнь, как останутся мои воспоминания. Я в зеркале их вижу, они бегут буйной чередой. Позвольте, когда еще я трясся при мысли о своем дипломе, о том, что какой-то фантастический суд будет меня судить и грозные судьи будут спрашивать:

«А где солдатская челюсть? Отвечай, злодей, окончивший университет!»

Как не помнить! Дело было в том, что хотя на свете и существует фельдшер Демьян Лукич, который рвет зубы так же ловко, как плотник – ржавые гвозди из старых шалевок, но такт и чувство собственного достоинства подсказали мне на первых же шагах моих в Мурьевской больнице, что зубы нужно выучиться рвать и самому. Демьян Лукич может и отлучиться или заболеть, а акушерки у нас все могут, кроме одного: зубов они, извините, не рвут, не их дело.

Стало быть… Я помню прекрасно румяную, но исстрадавшуюся физиономию передо мной на табурете. Это был солдат, вернувшийся в числе прочих с развалившегося фронта после революции. Отлично помню и здоровеннейший, прочно засевший в челюсти крепкий зуб с дуплом. Щурясь с мудрым выражением и озабоченно покрякивая, я наложил щипцы на зуб, причем, однако, мне отчетливо вспомнился всем известный рассказ Чехова о том, как дьячку рвали зуб. И тут мне впервые показалось, что рассказ этот нисколько не смешон.

Во рту громко хрустнуло, и солдат коротко взвыл:

– Ого-о!

После этого под рукой сопротивление прекратилось, и щипцы выскочили изо рта с зажатым окровавленным и белым предметом в них. Тут у меня екнуло сердце, потому что предмет этот превосходил по объему всякий зуб, хотя бы даже и солдатский коренной. Вначале я ничего не понял, но потом чуть не зарыдал: в щипцах, правда, торчал и зуб с длиннейшими корнями, но на зубе висел огромный кусок ярко белой неровной кости.

«Я сломал ему челюсть…» – подумал я, и ноги мои подкосились. Благословляя судьбу за то, что ни фельдшера, ни акушерок нет возле меня, я воровским движением завернул плод моей лихой работы в марлю и спрятал в карман. Солдат качался на табурете, вцепившись одной рукой в ножку акушерского кресла, а другою – в ножку табурета, и выпученными, совершенно ошалевшими глазами смотрел на меня. Я растерянно ткнул ему стакан с раствором марганцевокислого калия и велел:

– Полощи.

Это был глупый поступок. Он набрал в рот раствор, а когда выпустил его в чашку, тот вытек, смешавшись с алою солдатской кровью, по дороге превращаясь в густую жидкость невиданного цвета. Затем кровь хлынула изо рта солдата так, что я замер. Если бы я полоснул беднягу бритвой по горлу, вряд ли она текла бы сильнее. Отставив стакан с калием, я набрасывался на солдата с комками марли и забивал зияющую в челюсти дыру. Марля мгновенно становилась алой, и, вынимая ее, я с ужасом видел, что в дыру эту можно свободно поместить больших размеров сливу ренклод.

«Отделал я солдата на славу», – отчаянно думал я и таскал длинные полосы марли из банки. Наконец кровь утихла, и я вымазал яму в челюсти йодом.

– Часа три не ешь ничего, – дрожащим голосом сказал я своему пациенту.

– Покорнейше вас благодарю, – отозвался солдат, с некоторым изумлением глядя в чашку, полную его крови.

– Ты, дружок, – жалким голосом сказал я, – ты вот чего… ты заезжай завтра или послезавтра показаться мне. Мне… видишь ли… нужно будет посмотреть… У тебя рядом еще зуб подозрительный… Хорошо?

– Благодарим покорнейше, – ответил солдат хмуро и удалился, держась за щеку, а я бросился в приемную и сидел там некоторое время, охватив голову руками и качаясь, как от зубной у самого боли. Раз пять я вытаскивал из кармана твердый окровавленный ком и опять прятал его.

Неделю жил я как в тумане, исхудал и захирел.

«У солдата будет гангрена, заражение крови… Ах, черт возьми! Зачем я сунулся к нему со щипцами?»

Нелепые картины рисовались мне. Вот солдата начинает трясти. Сперва он ходит, рассказывает про Керенского и фронт, потом становится все тише. Ему уже не до Керенского. Солдат лежит на ситцевой подушке и бредит. У него 40. Вся деревня навещает солдата. А затем солдат лежит на столе под образами с заострившимся носом.

В деревне начинаются пересуды.

«С чего бы это?»

«Дохтур зуб ему вытаскал…»

«Вот оно што…»

Дальше – больше. Следствие. Приезжает суровый человек:

«Вы рвали зуб солдату?»

«Да… я».

Солдата выкапывают. Суд. Позор. Я – причина смерти. И вот я уже не врач, а несчастный, выброшенный за борт человек, вернее,

бывший человек.

Солдат не показывался, я тосковал, ком ржавел и высыхал в письменном столе. За жалованием персоналу нужно было ехать через неделю в уездный город. Я уехал через пять дней и прежде всего пошел к врачу уездной больницы. Этот человек с прокуренной бороденкой двадцать пять лет работал в больнице. Виды он видал. Я сидел вечером у него в кабинете, уныло пил чай с лимоном, ковыряя скатерть, наконец не вытерпел и обиняками повел туманную фальшивую речь: что вот, мол… бывают ли такие случаи… если кто-нибудь рвет зуб… и челюсть обломает… ведь гангрена может получиться, не правда ли?.. Знаете, кусок… я читал…

Тот слушал, слушал, уставив на меня свои вылинявшие глазки под косматыми бровями, и вдруг сказал так:

– Это вы ему лунку выломали… Здорово будете зубы рвать… Бросайте чай, идем водки выпьем перед ужином.

И тотчас и навсегда ушел мой мучитель-солдат из головы.

Ах, зеркало воспоминаний. Прошел год. Как смешно мне вспоминать про эту лунку! Я, правда, никогда не буду рвать зубы так, как Демьян Лукич. Еще бы! Он каждый день рвет штук по пяти, а я раз в две недели по одному. Но все же я рву так, как многие хотели бы рвать. И лунок не ломаю, а если бы и сломал, не испугался бы.

Да что зубы. Чего только я не перевидел и не сделал за этот неповторяемый год.

Вечер тек в комнату. Уже горела лампа, и я, плавая в горьком табачном дыму, подводил итог. Сердце мое переполнялось гордостью. Я делал две ампутации бедра, а пальцев не считаю. А вычистки. Вот у меня записано восемнадцать раз. А грыжа. А трахеотомия. Делал, и вышло удачно. Сколько гигантских гнойников я вскрыл! А повязки при переломах. Гипсовые и крахмальные. Вывихи вправлял. Интубации. Роды. Приезжайте, с какими хотите. Кесарева сечения делать не стану, это верно. Можно в город отправить. Но щипцы, повороты – сколько хотите.

Помню государственный последний экзамен по судебной медицине. Профессор сказал:

– Расскажите о ранах в упор.

Я развязно стал рассказывать и рассказывал долго, и в зрительной памяти проплывала страница толстейшего учебника. Наконец я выдохся, профессор поглядел на меня брезгливо и сказал скрипуче:

– Ничего подобного тому, что вы рассказали, при ранах в упор не бывает. Сколько у вас пятерок?

– Пятнадцать, – ответил я.

Он поставил против моей фамилии тройку, и я вышел в тумане и позоре вон…

Вышел, потом вскоре поехал в Мурьево, и вот я здесь один. Черт его знает, что бывает при ранах в упор, но когда здесь передо мной на операционном столе лежал человек и пузыристая пена, розовая от крови, вскакивала у него на губах, разве я потерялся? Нет, хотя вся грудь у него в упор была разнесена волчьей дробью и было видно легкое, и мясо груди висело клоками, разве я потерялся? И через полтора месяца он ушел у меня из больницы живой. В университете я не удостоился ни разу подержать в руках акушерские щипцы, а здесь, правда, дрожа, наложил их в одну минуту. Не скрою того, что младенца я получил странного: половина его головы была раздувшаяся, синебагровая, безглазая. Я похолодел. Смутно выслушал утешающие слова Пелагеи Ивановны:

– Ничего, доктор, это вы ему на глаз наложили одну ложку.

Я трясся два дня, но через два дня голова пришла в норму.

Какие я раны зашивал. Какие видел гнойные плевриты и взламывал при них ребра, какие пневмонии, тифы, раки, сифилис, грыжи (и вправлял), геморрои, саркомы.

Вдохновенно я развернул амбулаторную книгу и час считал. И сосчитал. За год, вот до этого вечернего часа, я принял 15 613 больных. Стационарных у меня было 200, а умерло только шесть.

Я закрыл книгу и поплелся спать. Я, юбиляр двадцати четырех лет, лежал в постели и, засыпая, думал о том, что мой опыт теперь громаден. Чего мне бояться? Ничего. Я таскал горох из ушей мальчишек, я резал, резал, резал… Рука моя мужественна, не дрожит. Я видел всякие каверзы и научился понимать такие бабьи речи, которых никто не поймет. Я в них разбираюсь, как Шерлок Холмс в таинственных документах… Сон все ближе…

– Я, – пробурчал я, засыпая, – я положительно не представляю себе, чтобы мне привезли случай, который бы мог меня поставить в тупик… может быть, там, в столице, и скажут, что это фельдшеризм… пусть… им хорошо… в клиниках, в университетах… в рентгеновских кабинетах… я же здесь… все… и крестьяне не могут жить без меня… Как я раньше дрожал при стуке в дверь, как корчился мысленно от страха… А теперь…

* * *

– Когда же это случилось?

– С неделю, батюшка, с неделю, милый… Выперло…

И баба захныкала.

Смотрело серенькое октябрьское утро первого дня моего второго года. Вчера я вечером гордился и хвастался, засыпая, а сегодня утром стоял в халате и растерянно вглядывался…

Годовалого мальчишку она держала на руках, как полено, и у мальчишки этого левого глаза не было. Вместо глаза из растянутых, истонченных век выпирал шар желтого цвета величиной с небольшое яблоко. Мальчишка страдальчески кричал и бился, баба хныкала. И вот я потерялся.

Я заходил со всех сторон. Демьян Лукич и акушерка стояли сзади меня. Они молчали, ничего такого они никогда не видели.

«Что это такое… Мозговая грыжа… Гм… он живет… Саркома… Гм… мягковата… Какая-то невиданная, жуткая опухоль… Откуда же она развилась… Из бывшего глаза… А может быть, его никогда и не было… Во всяком случае, сейчас нет…»

– Вот что, – вдохновенно сказал я, – нужно будет вырезать эту штуку…

И тут же я представил себе, как я надсеку веко, разведу в стороны и…

«И что… Дальше-то что? Может, это действительно из мозга… Фу, черт… Мягковато… На мозг похоже…»

– Что резать? – спросила баба, бледнея. – На глазу резать? Нету моего согласия…

И она в ужасе стала заворачивать младенца в тряпки.

– Никакого глаза у него нету, – категорически ответил я, – ты гляди, где ж ему быть. У твоего младенца странная опухоль…

– Капелек дайте, – говорила баба в ужасе.

– Да что ты, смеешься? Каких таких капелек? Никакие капельки тут не помогут!

– Что же ему, без глаза, что ли, оставаться?

– Нету у него глаза, говорю тебе…

– А третьего дни был! – отчаянно воскликнула баба.

«Черт!..»

– Не знаю, может, и был… черт… только теперь нету… И вообще, знаешь, милая, вези ты своего младенца в город. И немедленно, там сделают операцию… Демьян Лукич. А?

– М-да, – глубокомысленно отозвался фельдшер, явно не зная, что и сказать, – штука невиданная.

– Резать в городе? – спросила баба в ужасе – Не дам.

Кончилось это тем, что баба увезла своего младенца, не дав притронуться к глазу.

Два дня я ломал голову, пожимал плечами, рылся в библиотечке, разглядывал рисунки, на которых были изображены

младенцы с вылезающими вместо глаз пузырями… Черт.

А через два дня младенец был мною забыт.

* * *

Прошла неделя.

– Анна Жухова! – крикнул я.

Вошла веселая баба с ребенком на руках.

– В чем дело? – спросил я привычно.

– Бока закладывает, не продохнуть, – сообщила баба и почему-то насмешливо улыбнулась.

Звук ее голоса заставил меня встрепенуться.

– Узнали? – спросила баба насмешливо.

– Постой… постой… да это что… Постой… это тот самый ребенок?

– Тот самый. Помните, господин доктор, вы говорили, что глаза нету и резать чтобы…

Я ошалел. Баба победоносно смотрела, в глазах ее играл смех.

На руках молчаливо сидел младенец и глядел на свет карими глазами. Никакого желтого пузыря не было в помине.

«Это что-то колдовское…» – расслабленно подумал я.

Потом, несколько придя в себя, осторожно оттянул веко. Младенец хныкал, пытался вертеть головой, но все же я увидал… малюсенький шрамик на слизистой… А-а…

– Мы как выехали от вас тады… Он и лопнул…

– Не надо, баба, не рассказывай, – сконфуженно сказал я, – я уже понял…

– А вы говорите, глаза нету… Ишь, вырос. – И баба издевательски хихикнула.

«Понял, черт меня возьми… у него из нижнего века развился громаднейший гнойник, вырос и оттеснил глаз, закрыл его совершенно… а потом как лопнул, гной вытек… и все пришло на место…»

* * *

Нет. Никогда, даже засыпая, не буду горделиво бормотать о том, что меня ничем не удивишь. Нет. И год прошел, пройдет другой год и будет столь же богат сюрпризами, как и первый… Значит, нужно покорно учиться.

Звездная сыпь

Это он! Чутье мне подсказало. На знание мое рассчитывать не приходилось. Знания у меня, врача, шесть месяцев тому назад окончившего университет, конечно, не было.

Я побоялся тронуть человека за обнаженное и теплое плечо (хотя бояться было нечего) и на словах велел ему:

– Дядя, а ну-ка, подвиньтесь ближе к свету!

Человек повернулся так, как я этого хотел, и свет керосиновой лампы-молнии залил его желтоватую кожу. Сквозь эту желтизну на выпуклой груди и на боках проступала мраморная сыпь. «Как в небе звезды», – подумал я и с холодком под сердцем склонился к груди, потом отвел глаза от нее, поднял их на лицо. Передо мной было лицо сорокалетнее, в свалявшейся бородке грязно-пепельного цвета, с бойкими глазками, прикрытыми напухшими веками. В глазках этих я, к великому моему удивлению, прочитал важность и сознание собственного достоинства.

Человек помаргивал и оглядывался равнодушно и скучающе и поправлял поясок на штанах.

«Это он, сифилис», – вторично мысленно и строго сказал я. В первый раз в моей врачебной жизни я натолкнулся на него, я – врач, прямо с университетской скамеечки брошенный в деревенскую даль в начале революции.

На сифилис этот я натолкнулся случайно. Этот человек приехал ко мне и жаловался на то, что ему заложило глотку. Совершенно безотчетно, и не думая о сифилисе, я велел ему раздеться, и вот тогда увидел эту звездную сыпь.

Я сопоставил хрипоту, зловещую красноту в глотке, странные, белые пятна в ней, мраморную грудь, и догадался. Прежде всего, я малодушно вытер руки сулемовым шариком, причем беспокойная мысль: «Кажется, он кашлянул мне на руки», – отравила мне минуту. Затем беспомощно и брезгливо повертел в руках стеклянный шпадель, при помощи которого исследовал горло моего пациента. Куда бы его деть?

Решил положить на окно, на комок ваты.

– Вот что, – сказал я, – видите ли… Гм… По-видимому… Впрочем, даже наверно… У вас, видите ли, нехорошая болезнь – сифилис…

Сказал это и смутился. Мне показалось, что человек этот очень сильно испугается, разнервничается…

Он нисколько не разнервничался и не испугался. Как-то сбоку он покосился на меня, вроде того, как смотрит круглым глазом

курица, услышав призывающий ее голос. В этом круглом глазе я очень изумленно отметил недоверие.

– Сифилис у вас, – повторил я мягко.

– Это что же? – спросил человек с мраморной сыпью.

Тут остро мелькнул у меня перед глазами край снежно-белой палаты, университетской палаты, амфитеатр с громоздящимися студенческими головами и седая борода профессора-венеролога… Но быстро я очнулся и вспомнил, что я в полутора тысячах верст от амфитеатра и в 40 верстах от железной дороги, в свете лампы-«молнии»… За белой дверью глухо шумели многочисленные пациенты, ожидающие очереди. За окном неуклонно смеркалось и летел первый зимний снег.

Я заставил пациента раздеться еще больше и нашел заживающую уже первичную язву. Последние сомнения оставили меня, и чувство гордости, неизменно являющееся каждый раз, когда я верно ставил диагноз, пришло ко мне.

– Застегивайтесь, – заговорил я, – у вас сифилис! Болезнь весьма серьезная, захватывающая весь организм. Вам долго придется лечиться!..

Тут я запнулся, потому что – клянусь! – прочел в этом, похожем на куриный, взоре, удивление, смешанное явно с иронией.

– Глотка вот захрипла, – молвил пациент.

– Ну да, вот от этого и захрипла. От этого и сыпь на груди. Посмотрите на свою грудь…

Человек скосил глаза и глянул. Иронический огонек не погасал в глазах.

– Мне бы вот глотку полечить, – вымолвил он.

«Что это он все свое? – уже с некоторым нетерпением подумал я. – Я про сифилис, а он про глотку!»

– Слушайте, дядя, – продолжал я вслух, – глотка дело второстепенное. Глотке мы тоже поможем, но, самое главное, нужно вашу общую болезнь лечить. И долго вам придется лечиться – два года.

Тут пациент вытаращил на меня глаза. И в них я прочел свой приговор: «Да ты, доктор, рехнулся!»

– Что ж так долго? – спросил пациент. – Как это так два года?! Мне бы какого-нибудь полоскания для глотки…

Внутри у меня все загорелось. И я стал говорить. Я уже не боялся испугать его. О, нет, напротив, я намекнул, что и нос может провалиться. Я рассказал о том, что ждет моего пациента впереди, в случае, если он не будет лечиться как следует. Я коснулся вопроса о заразительности сифилиса и долго говорил о тарелках, ложках и чашках, об отдельном полотенце…

– Вы женаты? – спросил я.

– Женат, – изумленно отозвался пациент.

– Жену немедленно пришлите ко мне! – взволнованно и страстно говорил я. – Ведь, она тоже, наверное, больна?

– Жену?! – спросил пациент и с великим удивлением всмотрелся в меня.

Так мы и продолжали разговор. Он, помаргивая, смотрел в мои зрачки, а я в его. Вернее, это был не разговор, а мой монолог. Блестящий монолог, за который любой из профессоров поставил бы пятерку пятикурснику. Я обнаружил у себя громаднейшие познания в области сифилидологии и недюжинную сметку. Она заполнила темные дырки в тех местах, где не хватало строк немецких и русских учебников. Я рассказал о том, что бывает с костями нелеченого сифилитика, а попутно очертил и прогрессивный паралич. Потомство! А как жену спасти?! Или, если она заражена, а заражена она наверное, то как ее лечить? Наконец поток мой иссяк, и застенчивым движением я вынул из кармана справочник в красном переплете с золотыми буквами. Верный друг мой, с которым я не расставался на первых шагах моего трудного пути, сколько раз он выручал меня, когда проклятые рецептурные вопросы разверзали черную пропасть передо мной! Я украдкой, в то время, как пациент одевался, перелистывал странички и нашел то, что мне было нужно.

Ртутная мазь – великое средство.

– Вы будете делать втирания. Вам дадут шесть пакетиков мази. Будете втирать по одному пакетику в день… вот так…

И я наглядно и с жаром показал, как нужно втирать, и сам пустую ладонь втирал в халат…

– …Сегодня – в руку, завтра – в ногу, потом опять в руку – другую. Когда сделаете шесть втираний, вымоетесь и придете ко мне. Обязательно. Слышите? Обязательно! Да! Кроме того, нужно внимательно следить за зубами и вообще за ртом, пока будете лечиться. Я вам дам полоскание. После еды обязательно полощите…

– И глотку? – спросил пациент хрипло, и тут я заметил, что при слове «полоскание» он оживился.

– Да, да, и глотку.

Через несколько минут желтая спина тулупа уходила с моих глаз в двери, а ей навстречу протискивалась бабья голова в платке.

А еще через несколько минут, пробегая по полутемному коридору из амбулаторного своего кабинета в аптеку за папиросами, я услыхал бегло хриплый шепот:

– Плохо лечит. Молодой. Понимаешь, глотку заложило, а он

смотрит, смотрит… то грудь, то живот. Тут делов полно, а на больницу полдня. Пока выедешь, – вот те и ночь. О, Господи! Глотка болит, а он мази на ноги дает.

– Без внимания, без внимания, – подтвердил бабий голос с некоторым дребезжанием и вдруг осекся. Это я, как привидение, промелькнул в своем белом халате. Не вытерпел, оглянулся и узнал в полутьме бороденку, похожую на бороденку из пакли, и набрякшие веки и куриный глаз. Да и голос с грозной хрипотой узнал. Я втянул голову в плечи, как-то воровато съежился, точно был виноват, исчез, ясно чувствуя какую-то ссадину, нагоравшую в душе. Мне было страшно.

Неужто же все впустую?..

…Не может быть! И месяц я сыщически внимательно проглядывал на каждом приеме по утрам амбулаторную книгу, ожидая встретить фамилию жены внимательного слушателя моего монолога о сифилисе. Месяц я ждал его самого. И не дождался никого. И через месяц он угас в моей памяти, перестал тревожить, забылся…

Потому что шли новые и новые, и каждый день моей работы в забытой глуши нес для меня изумительные случаи, каверзные вещи, заставлявшие меня изнурять мой мозг, сотни раз теряться и вновь обретать присутствие духа, и вновь окрыляться на борьбу.

Теперь, когда прошло много лет, вдалеке от забытой облупленной белой больницы, я вспоминаю звездную сыпь на его груди. Где он? Что делает? Ах, я знаю, знаю. Если он жив, время от времени, он и его жена ездят в местную больницу. Жалуются на язвы на ногах. Я ясно представляю, как он разматывает портянки, ищет сочувствия. И молодой врач, мужчина или женщина, в беленьком штопаном халате, склоняется к ногам, давит пальцем кость выше язвы, ищет причины. Находит и пишет в книге: «Луес 3», потом спрашивает, не давали ли ему для лечения черную мазь.

И вот тогда, как я вспоминаю его, он вспомнит меня, 17-й год, снег за окном и шесть пакетиков в вощеной бумаге, шесть неиспользованных липких комков.

– Как же, как же, давал… – скажет он и поглядит, но уже без иронии, а с черноватой тревогой в глазах. И врач выпишет ему йодистый калий, быть может, назначит другое лечение. Так же, быть может, заглянет, как и я, в справочник…

Привет вам, мой товарищ!

«…еще, дражайшая супруга, передайте низкий поклон дяде Софрону Ивановичу. А, кроме того, дорогая супруга, съездите к нашему доктору, покажьте ему себе, как я уже полгода больной дурной болью сифилем. А на побывке у вас не открылся. Примите

лечение.

Супруг Ваш. Ан. Буков.»

Молодая женщина зажала рот концом байкового платка, села на лавку и затряслась от плача. Завитки ее светлых волос, намокшие от растаявшего снега, выбились на лоб.

– Подлец он! А?! – выкрикнула она.

– Подлец, – твердо ответил я.

Затем настало и самое трудное и мучительное. Нужно было успокоить ее. А как успокоить? Под гул голосов, нетерпеливо ждущих в приемной, мы долго шептались…

Где-то в глубине моей души, еще не притупившейся к человеческому страданию, я разыскал теплые слова. Прежде всего я постарался убить в ней страх. Говорил, что ничего еще ровно не известно и до исследования предаваться отчаянию нельзя. Да и после исследования ему не место: я рассказал о том, с каким успехом мы лечим эту дурную болезнь – сифилис.

– Подлец, подлец, – всхлипнула молодая женщина и давилась слезами.

– Подлец, – вторил я.

Так довольно долго мы называли бранными словами «дражайшего супруга», побывавшего дома и отбывшего в город Москву.

Наконец лицо женщины стало высыхать, остались лишь пятна, и тяжко набрякли веки над черными отчаянными глазами.

– Что я буду делать? Ведь у меня двое детей, – говорила она сухим измученным голосом.

– Погодите, погодите, – бормотал я, – видно будет, что делать.

Я позвал акушерку Пелагею Ивановну, втроем мы уединились в отдельной палате, где было гинекологическое кресло.

– Ах, прохвост, ах, прохвост, – сквозь зубы сипела Пелагея Ивановна. Женщина молчала, глаза ее были, как две черные ямки, она всматривалась в окно – в сумерки.

Это был и один из самых внимательных осмотров в моей жизни. Мы с Пелагеей Ивановной не оставили ни одной пяди тела. И нигде и ничего подозрительного я не нашел.

– Знаете что, – сказал я, и мне страстно захотелось, чтобы надежды меня не обманули и дальше не появилась бы нигде грозная твердая первичная язва, – знаете что?.. Перестаньте волноваться! Есть надежда. Надежда. Правда, все еще может случиться, но сейчас у вас ничего нет.

– Нет?! – сипло спросила женщина. – Нет? – Искры появились у нее в глазах, и розовая краска тронула скулы. – А вдруг сделается?.. А?..

– Я сам не пойму, – вполголоса сказал я Пелагее Ивановне, – судя по тому, что она рассказывала, должно у нее быть заражение, однако же ничего нет.

– Ничего нет, – как эхо, откликнулась Пелагея Ивановна.

Мы еще несколько минут шептались с женщиной о разных сроках, о разных интимных вещах, и женщина получила от меня наказ ездить в больницу.

Теперь я смотрел на женщину и видел, что это человек, перешибленный пополам. Надежда закралась в нее, потом тотчас умирала. Она еще раз всплакнула и ушла темной тенью. С тех пор меч повис над женщиной. Каждую субботу беззвучно появлялась в амбулатории у меня. Она очень осунулась, резче выступили скулы, глаза запали и окружились тенями. Сосредоточенная дума оттянула углы ее губ книзу. Она привычным жестом разматывала платок, затем мы уходили втроем в палату. Осматривали ее.

Первые три субботы прошли, и опять ничего не нашли мы на ней. Тогда она стала отходить понемногу. Живой блеск зарождался в глазах, лицо оживало, расправлялась стянутая маска. Наши шансы росли. Таяла опасность. На четвертую субботу я говорил уже уверенно. За моими плечами было около 90 % за благополучный исход. Прошел с лихвой первый 21-дневный знаменитый срок. Остались дальние случайные, когда язва развивается с громадным запозданием. Прошли, наконец, и эти сроки, и однажды, отбросив в таз сияющее зеркало, в последний раз ощупав железы, я сказал женщине:

– Вы вне всякой опасности. Больше не приезжайте. Это – счастливый случай.

– Ничего не будет?! – спросила она незабываемым голосом.

– Ничего.

Не хватит у меня уменья описать ее лицо. Помню только, как она поклонилась низко в пояс и исчезла.

Впрочем, еще раз она появилась. В руках у нее был сверток – два фунта масла и два десятка яиц. И после страшного боя я ни масла, ни яиц не взял. И очень этим гордился, вследствие юности. Но впоследствии, когда мне приходилось голодать в революционные годы, не раз вспоминал лампу-молнию, черные глаза и золотой кусок масла с вдавлинами от пальцев, с проступившей на нем росой.

* * *

К чему же теперь, когда прошло так много лет, я вспомнил ее, обреченную на четырехмесячный страх? Недаром. Женщина эта

была второй моей пациенткой в этой области, которой впоследствии я отдал мои лучшие годы. Первым был тот – со звездной сыпью на груди. Итак, она была второй и единственным исключением: она боялась. Единственная в моей памяти, сохранившей освещенную керосиновой лампой работу нас четверых (Пелагеи Ивановны, Анны Николаевны, Демьяна Лукича и меня).

В то время, как текли ее мучительные субботы, как бы в ожидании казни, я стал искать «его». Осенние вечера длинны. В докторской квартире жарки голландки-печи. Тишина, и мне показалось, что я один во всем мире со своей лампой. Где-то очень бурно неслась жизнь, а у меня за окнами бил, стучался косой дождь, потом незаметно превратился в беззвучный снег. Долгие часы я сидел и читал старые амбулаторные книги за предшествующие 5 лет. Предо мной тысячами и десятками тысяч прошли имена и названия деревень. В этих колоннах людей я искал его и находил часто. Мелькали надписи, шаблонные, скучные: «Bronchitis», «Laryngitis»… еще и еще… Но вот он! «Lues 3». И сбоку размашистым почерком, привычной рукой выписано:

Rp. Ung. Hydrarg. ciner. 3,0 Д. т. д.

Вот она – «черная мазь».

Опять. Опять пляшут в глазах бронхиты и катары и вдруг прерываются… вновь «Lues»…

Больше всего было пометок именно о вторичном люэсе.

Реже попадался третичный. И тогда йодистый калий размашисто занимал графу «лечение».

Чем дальше я читал старые, пахнущие плесенью, амбулаторные, забытые на чердаке, фолианты, тем больший свет проливался в мою неопытную голову. Я начал понимать чудовищные вещи.

Позвольте, а где же пометки о первичной язве? Что-то не видно. На тысячи и тысячи имен редко одна, одна. А вторичного сифилиса – бесконечные вереницы. Что же это значит? А вот что это значит…

– Это значит… – говорил я в тени самому себе и мыши, грызущей старые корешки на книжных полках шкафа, – это значит, что здесь не имеют понятия о сифилисе и язва эта никого не пугает. Да-с. А потом она возьмет и заживет. Рубец останется… Так, так, и больше ничего? Нет, не больше ничего! А разовьется вторичный и бурный при этом сифилис. Когда глотка болит и на теле появятся мокнущие папулы, то поедет в больницу Семен Хотов, 32 лет, и ему дадут серую мазь… Ага!..

Круг света помещался на столе, и в пепельнице лежащая шоколадная женщина исчезла под грудой окурков.

– Я найду этого Семена Хотова. Гм…

Шуршали, чуть тронутые желтым тленом, амбулаторные листы. 17 июня 1916 года Семен Хотов получил шесть пакетиков ртутной целительной мази, изобретенной давно на спасение Семена Хотова. Мне известно, что мой предшественник говорил Семену, вручая ему мазь:

– Семен, когда сделаешь шесть втираний, вымоешься, приедешь опять. Слышишь, Семен?

Семен, конечно, кланялся и благодарил сиплым голосом. Посмотрим: деньков через 10–12 должен Семен неизбежно опять показаться в книге. Посмотрим, посмотрим… Дым, листы шуршат. Ох, нет, нет Семена! Нет через 10 дней, нет через 20… Его вовсе нет. Ах, бедный Семен Хотов. Стало быть, исчезла мраморная сыпь, как потухают звезды на заре, подсохли кондиломы. И погибнет, право, погибнет Семен. Я, вероятно, увижу этого Семена с гуммозными язвами у себя на приеме. Цел ли у него носовой скелет? А зрачки у него одинаковые?.. Бедный Семен!

Но вот не Семен, а Иван Карпов. Мудреного нет. Почему же не заболеть Карпову Ивану? Да, но позвольте, почему же ему выписан каломель с молочным сахаром, в маленькой дозе?! Вот почему: Ивану Карпову 2 года! А у него «Lues 2»! Роковая двойка! В звездах принесли Ивана Карпова, на руках у матери он отбивался от цепких докторских рук. Все понятно.

Я знаю, я догадываюсь, я понял, где была у мальчишки двух лет первичная язва, без которой не бывает ничего вторичного. Она была во рту! Он получил ее с ложечки.

Учи меня, глушь! Учи меня, тишина деревенского дома! Да, много интересного расскажет старая амбулатория юному врачу.

Выше Ивана Карпова стояла:

«Авдотья Карпова, 30 лет».

Кто она? Ах, понятно. Это – мать Ивана. На руках-то у нее он плакал.

А ниже Ивана Карпова:

«Авдотья Карпова, 6 лет».

– А это кто? Сестра! Каломель…

Семья налицо. Семья. И не хватает в ней только одного человека – Карпова, лет 35–40… И неизвестно, как его зовут – Сидор, Петр. О, это неважно!

«…дражайшая супруга… дурная болезнь сифиль…»

Вот он – документ. Свет в голове. Да, вероятно, приехал с проклятого фронта и не «открылся», а может, и не знал, что нужно открыться. Уехал. А тут пошло. За Авдотьей – Марья, за Марьей – Иван. Общая чашка со щами, полотенце…

Вот еще семья. И еще. Вон старик, 70 лет. «Lues 2». Старик. В чем ты виноват? Ни в чем. В общей чашке! Внеполовое, внеполовое. Свет ясен. Как ясен и беловат рассвет раннего декабря. Значит, над амбулаторными записями и великолепными немецкими учебниками с яркими картинками я просидел всю мою одинокую ночь.

Уходя в спальню, зевал, бормотал:

– Я буду с «ним» бороться.

* * *

Чтобы бороться, нужно его видеть. И он не замедлил. Лег санный путь, и бывало, что ко мне приезжало 100 человек в день. День занимался мутно-белым, а заканчивался черной мглой за окнами, в которую загадочно, с тихим шорохом уходили последние сани.

Он пошел передо мной разнообразный и коварный. То являлся в виде язв беловатых в горле у девчонки-подростка. То в виде сабельных искривленных ног. То в виде подрытых вялых язв на желтых ногах старухи. То в виде мокнущих папул на теле цветущей женщины. Иногда он горделиво занимал лоб полулунной короной Венеры. Являлся отраженным наказанием за тьму отцов на ребятах, с носами, похожими на казачьи седла. Но, кроме того, он проскальзывал и не замеченным мною. Ах, – ведь я был со школьной парты!

И до всего доходил своим умом и в одиночестве. Где-то он таился и в костях, и в мозгу.

Я узнал многое.

– Перетирку велели мне тогда делать.

– Черной мазью?

– Черной мазью, батюшка, черной…

– Накрест? Сегодня – руку, завтра – ногу?..

– Как же. И как ты, кормилец, узнал? (Льстиво.)

«Как же не узнать? Ах, как не узнать. Вот она – гумма!..»

– Дурной болью болел?

– Что вы! У нас и в роду этого не слыхивали.

– Угу… Глотка болела?

– Глотка-то? Болела глотка. В прошлом годе.

– Угу… А мазь давал Леонтий Леонтьевич?

– Как же! Черная, как сапог.

– Плохо, дядя, втирал ты мазь. Ах, плохо!..

Я расточал бесчисленные кило серой мази. Я много, много выписывал йодистого калия и много извергал страстных слов.

Некоторых мне удавалось вернуть после первых шести втираний. Нескольким удалось, хотя большей частью и не полностью, провести хотя бы первые курсы впрыскиваний. Но большая часть утекала у меня из рук, как песок в песочных часах, и я не мог разыскать их в снежной мгле. Ах, я убедился в том, что здесь сифилис тем и был страшен, что он не был страшен. Вот почему в начале этого моего воспоминания я и привел ту женщину с черными глазами. И вспомнил я ее с каким-то теплым уважением именно за ее боязнь. Но она была одна!

* * *

Я возмужал, я стал сосредоточен, порой угрюм. Я мечтал о том, когда окончится мой срок и я вернусь в университетский город, и там станет легче в моей борьбе.

В один из таких мрачных дней на прием в амбулаторию вошла женщина, молодая и очень хорошая собою. На руках она несла закутанного ребенка, а двое ребят, ковыляя и путаясь в непомерных валенках, держась за синюю юбку, выступавшую из-под полушубка, ввалились за нею.

– Сыпь кинулась на ребят, – сказала краснощекая бабенка важно.

Я осторожно коснулся лба девочки, держащейся за юбку. И она скрылась в ее складках без следа. Необыкновенно мордастого Ваньку выудил из юбки с другой стороны. Коснулся и его. И лбы у обоих были не жаркие, обыкновенные.

– Раскрой, миленькая, ребенка.

Она раскрыла девочку. Голенькое тельце было усеяно не хуже, чем небо в застывшую морозную ночь. С ног до головы сидела пятнами розеола и мокнущие папулы. Ванька вздумал отбиваться и выть. Пришел Демьян Лукич и мне помог…

– Простуда, что ли? – сказала мать, глядя безмятежными глазами.

– Э-х-эх, простуда, – ворчал Лукич, и жалостливо и брезгливо кривя рот. – Весь Коробовский уезд у них так простужен.

– А с чего ж это? – спрашивала мать, пока я разглядывал ее пятнистые бока и грудь.

– Одевайся, – сказал я.

Затем присел к столу, голову положил на руку и зевнул (она приехала ко мне одной из последних в этот день, и номер ее был 98). Потом я заговорил:

– У тебя, тетка, а также у твоих ребят «дурная боль». Опасная, страшная болезнь. Вам всем сейчас же нужно начинать лечиться,

и лечиться долго.

Как жаль, что словами трудно изобразить недоверие в выпуклых голубых бабьих глазах. Она повернула младенца, как полено на руках, тупо поглядела на ножки и спросила:

– Скудова же это?

Потом криво усмехнулась.

– Скудова – не интересно, – отозвался я, закуривая пятидесятую папиросу за этот день, – другое ты лучше спроси, что будет с твоими ребятами, если не станешь лечить.

– А что? Ничаво не будет, – ответила она и стала заворачивать младенца в пеленки.

У меня перед глазами лежали часы на столике. Как сейчас помню, что поговорил я не более трех минут, и баба зарыдала. И я очень был рад этим слезам, потому что только благодаря им, вызванным моими нарочито жесткими и пугающими словами, стала возможна дальнейшая часть разговора:

– Итак, они остаются. Демьян Лукич, вы поместите их во флигеле. С тифозными мы справимся во 2-й палате. Завтра я поеду в город и добьюсь разрешения открыть стационарное отделение для сифилитиков.

Великий интерес вспыхнул в глазах фельдшера.

– Что вы, доктор, – отозвался он (великий скептик был), – да как же мы управимся одни? А препараты? Лишних сиделок нету… А готовить?.. А посуда? шприцы?!

Но я тупо, упрямо помотал головой и отозвался:

– Добьюсь.

* * *

Прошел месяц…

В трех комнатах занесенного снегом флигелька горели лампы с жестяными абажурами. На постелях бельишко было рваное. Два шприца всего было. Маленький одногра́ммовый и пятигра́ммовый – люэр. Словом, это была жалостливая, занесенная снегом бедность. Но… гордо лежал отдельно шприц, при помощи которого я, мысленно замирая от страха, несколько раз уже делал новые для меня, еще загадочные и трудные вливания сальварсана.

И еще: на душе у меня было гораздо спокойнее – во флигельке лежали семь мужчин и пять женщин, и с каждым днем таяла у меня на глазах звездная сыпь.

Был вечер. Демьян Лукич держал маленькую лампочку и освещал застенчивого Ваньку. Рот у него был вымазан манной

кашей. Но звезд на нем уже не было. И так, все четверо прошли под лампочкой, лаская мою совесть.

– К завтраму, стало быть, выпишусь, – сказала мать, поправляя кофточку.

– Нет, нельзя еще, – ответил я, – еще один курс придется претерпеть.

– Нет моего согласия, – ответила она, – делов дома срезь. За помощь спасибо, а выписывайте завтра. Мы уже здоровы.

Разговор разгорелся, как костер. Кончился он так:

– Ты… ты знаешь, – заговорил я и почувствовал, что багровею, – ты знаешь… ты дура!..

– Ты что же это ругаешься? Это какие же порядки – ругаться?

– Разве тебя «дурой» следует ругать? Не дурой, а… а!.. Ты посмотри на Ваньку! Ты что же, хочешь его погубить? Ну, так я тебе не позволю этого!

И она осталась еще на десять дней.

Десять дней! Больше никто бы ее не удержал. Я вам ручаюсь. Но, поверьте, совесть моя была спокойна, и даже… «дура» не потревожила меня. Не раскаиваюсь. Что́ брань по сравнению со звездной сыпью!

Итак, ушли года. Давно судьба и бурные лета разлучили меня с занесенным снегом флигелем. Что там теперь и кто? Я верю, что лучше. Здание выбелено, быть может, и белье новое. Электричества-то, конечно, нет. Возможно, что сейчас, когда я пишу эти строки, чья-нибудь юная голова склоняется к груди больного. Керосиновая лампа отбрасывает свет желтоватый на желтоватую кожу…

Привет, мой товарищ!